

Манук Мнацаканян



Оттисненъ

55 коп.

Советакан
гроз



МАНУК МНАЦАКАНЯН

Манук Мнацаканян — представитель среднего поколения армянских писателей.

Родился в 1934 году в Ереване. Окончил электротехнический факультет Ереванского политехнического института. Около двадцати лет работал на различных предприятиях, а научно-исследовательских институтах, одновременно занимался и литературной деятельностью.

В настоящее время работает в Госгелерадио Арм. ССР

М. Мнацаканян — лауреат Государственной премии Арм. ССР и литературной премии им. Г. Сундукяна Союза писателей Армении.

Манук Мнацаканян

Օտյենել



Издательство «Советакан грох», Ереван—1985

ББК 84 Ар7
М 831

Перевод с армянского
Предисловие Г. Баренца

МНАЦАКАНЯН М. Я.

М 831 Оттепель: Рассказы. / Пер. с арм. Предисл. Г. Баренца — Ер.: Совет. грох. 1985, — 152 с.

Рассказы М. Мнацаканяна — это раздумья о человеке, его месте и назначении в этом мире, это раздумья о судьбах современников.

М 4702080200 (230) 191.86
705 (01) 85

ББК 84 Ар7

© Издательство «Советакан грох», оформление предисловие, 1985.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Художественный мир прозы Манука Мнацаканяна, одного из одаренных и самобытных армянских писателей среднего поколения, отличается удивительной цельностью. Можно сказать, что его рассказы и повести, при всех их — иногда более чем очевидной — несхожести между собой, — продолжают и дополняют друг друга.

Они как бы имеют единый идейный стержень. Герои произведений Манука Мнацаканяна — люди разных судеб, разных возрастов и разных профессий; у них разные имена и разные биографии, но у читателя не может не возникнуть впечатления, что это варианты одной и той же человеческой судьбы, что это разные грани одного и того же характера.

Прозу Манука Мнацаканяна можно безо всякой натяжки охарактеризовать как социально-бытовую и психологическую прозу. Сюжет, фабульная коллизия в его рассказах и повестях не имеет первостепенного значения, оттесняется на второй план, становится своего рода вспомогательным средством для выражения авторской идеи, авторского миропонимания. И напротив, решающая роль отводится авторским рассуждениям и диалогу — подробному, размеренно-неторопливому, документально-точному. Писатель терпеливо «выслушивает» своих героев, не торопит их, не «фильтрует» их речь, отделяя главное от необязательного. Диалог свободно течет по своему руслу, изобилуя предметными деталями и обиходными частностями; он пядь за пядью, шаг за шагом отвоевывает все новые и новые территории, все обстоятельнее и глубже исследует души литературных персонажей, раскрывая ту или иную психологическую ситуацию во всем ее объеме, в полный рост.

Рассказы и повести Манука Мнацаканяна — это раздумья о человеке и его месте и назначении в этом мире, это раздумья о судьбах современников, об оценочных критериях, уточнение которых позволяет лучше и полнее осознавать всю значимость общечеловеческих духовных ценностей. Внимание писателя может привлечь самая, казалось бы, обычная, заурядная житейская ситуация. Но вот эта ситуация разворачивается, обрамляется новыми подробностями, рассматривается объемно и с нескольких точек зрения, и вот уже перед читателями предстает человеческая драма, жизненный конфликт. Нарушается гармония добрых взаимоотношений между близкими, родными по крови или по духу людьми; происходит разрыв между сложившимся с годами представлением о конкретном человеке и его подлинной сущностью, вчерашние друзья и единомышленники становятся непримиримыми врагами...

В рассказе «Зов» писатель вплотную рассматривает вопрос о природосообразности в самом широком смысле, нарушение которой неизбежно оборачивается трагедией, душевным разладом. Человек не должен отрываться от своих корней, от своих истоков. Дед Геворг, всю свою жизнь проживший в деревне, любит землю, природу, простор. Нетрудно понять его переживания, когда его против собственной воли отторгают от этой самой земли, природы, простора. «Дали бы мне спокойно пожить в деревне, там бы и помер. Взяли, привезли — мол, смотрите, как мы о своем отце печемся. Ни слова им не сказал. А что мне делать — ведь дураку не стыдно, стыдно его ближним...». У деда Геворга пятеро сыновей, все они преуспевают в жизни, обзавелись семьями и квартирами, но на поверку оказывается, что на старости лет у деда Геворга нет своего дома, своего пристанища, нет своего угла, где можно было бы все устроить по своему усмотрению, расположиться и чувствовать себя хозяином... Ему заказано и возвращение в родную деревню: что люди скажут? Эта показная благопристойность, которая так заботит его сыновей и невесток, эта внешняя — для посторонних, соседских глаз — тишь да гладь, содержит в себе внутренний конфликт, взрывоопасную ситуацию. Невестки завидуют одна другой, братья в ссоре. Душевное равновесие в отношениях между семьями — крайне неустойчивое, с трудом маскируемая неприязнь вот-вот готова выплеснуться нару-

жу. Искрой, поводом для разрядки накаленной атмосферы послужило то, что дед Геворг решил приютить во дворе бездомного пса-волкодава. Параллель между этими двумя судьбами — старика и собаки — проводимая исподволь, ненавязчиво — имеет глубокий подтекст: вновь ребром ставится вопрос о природосообразности. Псу-волкодаву, как и деду Геворгу, нечего делать в городе. Его место в деревне, на пастбище, рядом с пастухами и овцами. Есть затаенный, глубинный смысл и в том, что сторожевого пса убивает потомок чабана, напроць забывший свои истоки. Это Вазген Чобаян, начальник охраны с унтерпришибевскими замашками, придирчивый и ворчливый. Он из тех людей, которые умеют ловко устроить свою жизнь. О его отношении к работе и окружающим писатель говорит с нескрываемой иронией: «Удобная работа: когда хотел — приходил, когда хотел — уходил, в рабочее время ходил по магазинам, надо дома прокрутить мясо — пожалуйста, и за десять минут до конца работы заявлялся на запод. Пусть попробует кто-нибудь пораньше уйти с работы. «Ну? — говорил он собравшимся у входа. — Куда это вы спешите? Может, записать фамилии и передать директору? Верно, каждый из вас норовит унести что-то в кармане. И как вас только земля носит?».

Цельность прозы Манука Мнацаканяна обеспечивается четкой гражданской позицией писателя, его нравственным максимализмом. Социальное равнодушие лирического героя, от имени которого ведется повествование, выражается со всей определенностью, решительно и недвусмысленно. Это в равной степени относится как к произведениям, посвященным военной тематике, так и к произведениям, в которых действие разворачивается в послевоенные годы, в наше время.

Частое обращение Манука Мнацаканяна к теме войны диктуется памятью сердца. Писателю довелось пережить военное детство (ему было семь лет, когда началась Великая Отечественная война), и неизгладимые впечатления военного времени, когда каждый месяц казался годом, впоследствии стали одним из основных источников, питающих творчество армянского прозаика. Тема войны стала для Манука Мнацаканяна болевой темой, темой, с которой он был связан органически. Смертоносное дыхание войны то и дело врывается в трудную, изнуряющую ты-

ловую жизнь армянского народа, напоминая о себе новой похоронкой, новой болью, новой бедой. Военные рассказы М. Мнацаканяна («Високосный год», «Декабрь», «Сын квартала», «Февраль», «Женщины», «Июль», «Ноябрь» и др.) отмечены постоянным сопряжением отдельной человеческой судьбы с судьбой всего народа, на долю которого выпало величайшее из всех испытаний — испытание войной. Жизнь в тылу экзаменовала людей на прочность — как в физическом, так и в нравственном отношении. Трудности истощают силы и нервную систему людей, доводят их до истерики, но не могут сломить их, убить в них природную доброту, человечность («Женщины», «Високосный год», «Декабрь», «Сын квартала»). Герой рассказа «Февраль» старик Петрос, получив извещение о гибели сына, решает женить внука — подростка, школьника. Он спешит, понимает, что дело это не терпит отлагательства, потому что внука его, Азрика, не сегодня-завтра заберут в действующую армию, и род его может исчезнуть с лица земли.

Память о войне в прозе Манука Мнацаканяна не исчерпывается темой войны. Память о войне присутствует и в самых что ни на есть «мирных» произведениях писателя, проникая в них в виде ретроспективных реминисценций.

Гуманизм рассказов и повестей Манука Мнацаканяна активен и конкретен. Его сострадание, сопереживание боли литературных персонажей, их бедам и невзгодам не имеет ничего общего с отвлеченным, всеядным человеколюбием. Правду жизни, абсолютную истину писатель рассматривает сразу в нескольких измерениях. Это правда «странных людей» (дед Геворг в рассказе «Зов», Ерджаник Карапетян в рассказе «Хаш», Баграт в рассказе «Тоска», Вардуш-майрик, Уста и Авет в рассказе «Цмакут», Багдасар в одноименной повести и т. д.); это правда прагматиков, ультрасовременных ловкачей, «правильных людей» (Вазген Чобанян, а также сыновья и невестки деда Геворга в рассказе «Зов», буфетчик Серож, министр и прокурор в рассказе «Хаш», учительница Шушик в рассказе «Цмакут» и т. д.). Это, наконец, правда автора-повествователя, художественная правда, не навязываемая читателю, а психологически достоверная и поэтому убедительная. Писатель не колеблясь высказывает свое отношение к происходящему, он не страшится быть третьей

судьей, взять под свою защиту «странных людей» с них не для всех понятной и вразумительной правдой, которая — какой бы она ни была — также имеет право на существование. И напротив, не приемлет слишком уж рафинированно-правильную, выгодную, рассудительную, но вместе с тем меркантильную и отдающую цинизмом правду преуспевающих дельцов. При этом, повторяем, писатель ставит перед собой только художественные задачи, он только показывает и не спешит с категоричными выводами, с универсальными рецептами, способными стать панацеей от всех бед.

Говоря о стилевых особенностях прозы Манука Мнацаканяна, следует отметить, что изображаемый материал он подает доверительным тоном; читатель как бы перестает быть только читателем, согладаясь разворачивающихся событий, он незаметно вовлекается в диалог, становится незримым его участником, воспринимая тему, сюжетную канву рассказа как нечто свое, родное, близкое. Размеренный ритм трудовых будней, неожиданные повороты и зигзаги в судьбах литературных героев — все это изображается с позиций нашего современника, человека, наделенного сложнейшей и подчас противоречивой гаммой чувств и мыслей. К реализации своей основной идеи, сверхзадачи, писатель подводит нас исподволь, в одном случае — подчеркиванием важной психологической детали, в другом — через лирический пассаж внутреннего монолога, но в то же время и всей логикой динамического развития характеров.

Применительно к прозе Манука Мнацаканяна можно говорить о повышенном внимании к социально-бытовым и национально-этнографическим деталям и подробностям, что во многом определяет ее национальное своеобразие.

Манук Мнацаканян нередко обрывает сюжетную линию повествования, оставляя рассказ незавершенным, придавая ему вид психологического наброска и оставляя читателю возможность для самостоятельного домысливания.

Шесть программных рассказов Манука Мнацаканяна, включенных в его новую книгу «Оттепель», призваны показать многообразие художественно-эстетических и нравственных исканий армянского писателя.

Гурген КАРАПЕТЯН.

Где-то совсем рядом, в расщелине между стеной и асфальтом, в зное летней ночи сверчок прят пряху тишины, далеко от завода недовольно пыхтел под тяжестью груза паровоз. Ветер то появлялся, то исчезал, донося жалобное поскуливание собаки, которое затем переходило в густой вой, и лежащий на тахте начальник вахты Вазген Чобанян не мог ни спать, ни окончательно проснуться. Полусонный, он беспокойно ворочался с одного бока на другой. Тусклый свет не мешал Чобаняну, ему было просто лень встать, прогнать эту бездомную собаку, которая появляется вот уже вторую ночь вместе с ветром, воеет вместе с ним, не дает ему спать, и Вазген Чобанян с воем в ушах спорил мысленно с беспалым Макаром из прядильного цеха: «Не твое это собачье дело, приходит товарищ Чобанян в третью смену или нет. Посмотрел бы, как я мучаюсь, чтоб сердце твое успокоилось. Может, из-за меня тебе придавило пальцы прессом, член месткома? И не стыдится — ни свет ни заря притащился сюда и — «добрый день, товарищ Чобанян».

Держа ружье между коленями, храпел, сидя на стуле, вахтер, и его тень вздрагивала на недавно побеленной стене проходной.

— У-у-у-у... — заглушая окружающие звуки
выла собака.

— Заткнись, дура... — проворчал Вазген Чобанян и, почувствовав, что ему больше не заснуть, встал, потянулся и, зевая, толкнул вахтера. — Какое ты имеешь право спать на работе? А еще сторож называется!

Вахтер испуганно вскочил, встал перед начальником, протер глаза.

— Слышишь? — сказал Вазген Чобанян, — опять притащилась. Включи прожектор, посмотрим, что это за чудовище.

Он вышел, встал под стеной, вглядываясь в темноту. Из-за стены показались руки вахтера, который пытался повернуть прожектор, но прожектор не поддавался ему, и свет, как эквилибрист, подпрыгивал на стене.

— Ну, что там случилось?

— Заело, черт, — простонал за стеной сторож. — Заржавел проклятый.

— Заржавел! — поднимая голос, передразнил его начальник. — Сколько раз говорил, смажь.

— Что?..

— Что... что... Крепче крутани, ты что, не ел сегодня?

Прожектор заскрипел, угнал звезды и свет, повернулся и уперся в темноту.

— Вон... Глянь-ка, — крикнул Вазген Чобанян.

Неподалеку, в снопе света, сидел огромный волкодав и, задрав морду к небу, выл...

— Это собака чабана, — сказал начальник караула. — Опять, проклятая, не даст заснуть. Принеси-ка ружье.

Будто выполняя боевое задание, сторож побежал, топая сапогами, принес ружье, отдал Вазгену Чобаняну.

— Сейчас я ее мигом успокою, — сказал Чобанян. — Цыц, проклятая, всю душу вымотала, — и пошел на цыпочках в темноту, чтобы собака не заметила его, а собака продолжала выть, и вскоре ее хриплый лай заполнил весь квартал, кое-где тонким сопрано откликнулись собаки, словно передразнивая ее.

— Не убивай, — подал вдруг голос вахтер, — лучше прогони.

Вазген Чобанян подошел, остановился в метре от собаки, тщательно прицелился и нажал на курок. Послышался сухой щелчок. Начальник разозлился, неизвестно на пса или на сторожа, крепко выругался и опустил приклад на голову пса, но промахнулся, в свете и во тьме смешались человек и собака, появились под лучами прожектора, слились в темноте, и только слышались их возня и душераздирающие вопли начальника. Затем пес отпустил свою жертву и растворился в темноте. Вахтер с криком бросился на помощь начальнику и, увидев его, замер от удивления. С его лица и рук хлестала кровь, одежда висела клочьями.

— Товарищ Чобанян, товарищ Чобанян... — повторял он.

— Товарищ Чобанян, так и разэтак твою мать! — взорвался начальник. — Чего сунул незаряженное ружье? Скотина ты этакая!

— Забыл, товарищ Чобанян, забыл...

— Осел! — в сердцах бросил начальник. —

Тебе только кизяк месить! Какой ты, к черту, сторож!

— Виноват, товарищ Чобанян, виноват...

— Заткнись, болван! — заорал Чобанян. — Помоги, чего стоишь, как истукан.

Волоча ружье, ругая на чем свет стоит всех ближних и дальних родичей пса, они направились к проходной.

— Ох, дела, — вскинул брови вахтер. — Нужна фасоль — приложить к ранам.

— Где ты посреди ночи фасоль раздобудешь? — ужаснувшись своих покусанных рук закричал начальник.

— Что верно, то верно. Йод нужен.

— А йод где достанешь?..

— Что же делать? — заметался по маленькой комнате вахтер.

— Вызови скорую помощь, скорую помощь, — улегшись на тахту, сказал Чобанян ослабшим голосом.

— Да, скорую помощь. — Вахтер поспешно набрал номер и закричал в трубку: — Скорая? Собака растерзала товарища Чобаняна, живого места не оставила. Поживее... Что?.. Пожарная команда?..

— Скотина... — простонал Вазген Чобанян, но вахтер не слышал его и когда на том конце повесили трубку, он растерянно уставился на Чобаняна.

— Позвони 03... 03...

Наконец вахтеру удалось связаться со скорой помощью, кое-как растолковать что к чему. Вспотевший и обессиленный, он свалился рядом с Чо-

баняном. И когда тот умылся и кровь слегка унялась, сторож начал считать.

— Лицо разодрал — раз... Руки в шести местах... Хорошо, что пальцы не прихватил, а то остался бы беспалым.

— Заткнись, все тело ноет.

— Как же ему не ныть... А сорочку-то как разодрал...

Чобаян не слушал его. Смотрел на раненые руки, в осколке зеркала изучал лицо, прикладывал платок то к рукам, то к лицу и ругался.

— И кто его сюда притащил? Так его мать...

И в чем был виноват тот, «кто притащил его сюда»?

Сын чабана поступил в педагогический институт, отец же не мог оставить сына без денег. Пригнал в город десять овец, чтобы продать. Одежду надо сделать сыну, обувь, ведь не в горах же, чтобы не знать, куда деньги девать. Собака пастуха пришла в город вместе с ним и, заплутав среди многоэтажных зданий, в сутолоке машин, трамваев, улиц и людей, потеряла хозяйина.

И вот в этом семисоттысячном городе, городе синхрофазотронов, нейлона и электронно-вычислительных машин, синтетического каучука и синтетических собак появилась собака чабана, огромный крепкий волкодав с буро-желтой шерстью, сверкающей под солнцем, с грустными большими глазами, тяжелыми и широкими лапами. Чабан, наверно, позабыв о еде, потеряв сон, позабыв своих овец, поступившего в институт сына, проклиная все на свете, искал своего пса, а тот в другом конце города — своего хозя-

ина, овец, свои горы и камни. За такого пса пастухи дают овец, денег впридачу, дерутся насмерть. Такой пес становится членом их семьи, а этот бродит без дела по асфальтированным улицам, раскаленный асфальт жжет его привыкшие к травам и земле лапы, и он, скуля, бросается из стороны в сторону, ищет выхода, чтобы удрать от этого асфальта и огня, от этого нескончаемого потока людей и машин, удрать в свои горы, ищет и не находит. Улицы обманывали его, казалось, они уже вывели его из города, но снова приводили обратно. И когда темнело, пес терялся, отчаивался, садился где придется, вытягивал вверх морду, принюхивался к ветру, ловя идущие издалека знакомые запахи, и выл, выл жутко и тоскливо...

«Уууу-уууу...» Наверное, он говорил с горами, ущельями, острыми, как пики, скалами, ручейками, зарывшими свои хвосты в пушистый снег, звал ягнят и овец с влажными от росы мордочками, которые разбрелись по пастбищу, пастуха и его собак. «Уууу... ууу». Его вой тянулся, бился о бетонные стены высотных домов, об освещенные витрины, электрические провода, окутавшие, как паутина, весь город, о столбы и трубы, и, расползаясь в клочья, где-то исчезал. Он сам не слышал отзвука своего воя.

«Ууу-ууу...»

Люди говорили, что пес лает на луну. Целый квартал не мог заснуть от его воя. Выходили во двор, кричали «Мопсик, Мопсик», но какой он был Мопсик, орали «пашол», а по-русски не понимал даже его хозяин, и когда становилось нев-

могуту, кидали в него камнями и палками. Он не обращал на них внимания, продолжая выть, но когда камни попадали в него, он срывался с места, ударял грудью обидчика, распластав его по земле, кусал и отбегал на несколько метров, затем оборачивался, смотрел на свою жертву и, растерянный, медленно уходил...

Вскоре протяжный вой раздался в другом квартале...

— И кто его сюда притащил. Так его мать, — процедил сквозь зубы Вазген Чобанян. — Видать, кость задета. И сапог разорван.

— Точно, разорвала, — вахтер разглядывал сапог, — она волка может задрать, что ей сапог.

Подоспела скорая помощь. Молоденькая докторша и ее два помощника протирали заспанные глаза. Увидев Вазгена Чобаняна, они тут же очнулись.

— Это что, собака укусила?..

— Какая там собака. Настоящий волк.

Начальник придирчиво посмотрел на молодого врача и недовольно пробормотал:

— Какой с нее толк. Пропал я...

— Кто первым напал? — нахмутив брови, спросила врач. — Вы или собака?

— Стало быть, так. Я первым напал, а собака набросилась на меня.

— Живого места не оставила, — вмешался вахтер. Он с любопытством уставился на ящик с лекарствами. — Йодом помажьте.

— Ну чего суешься не в свои дела? — возмутился начальник. — Ты сторож, вот и займись своим делом. А ну, марш!

Врач и в самом деле смазала раны йодом, ма-

ленькими металлическими зажимами захватила раны, наложила швы, забинтовала, а столам и ахам Чобаняна не было конца. Он стонал, кричал и между делом пытался доказать, что он все-таки мужчина.

— На германской войне две раны получил. Так даже не пикнул — умереть мне на месте. Это совсем другая боль.

* * *

Собака собакой, а город продолжал жить своей жизнью. Суконная фабрика выпускала неизвестно какой миллионный метр ткани, шинный завод — шины, электронно-вычислительная машина «Наири» получила на выставке золотую медаль, приехавшие из столицы белокурые красавицы сводили с ума парней в расклешенных брюках, вечером в кинотеатрах показывали «Этот безумный, безумный, безумный мир»... Утром люди спешили на работу, пустели от полуденного зноя улицы, если выступала городская футбольная команда — город замирал на два часа, затем снова оживал, самолеты ИЛ-18 летели с аэропорта на море, море, море, вечерний ветерок крутя уносил со дворов частных домов дым шашлыка, вызывая зависть тех, кто жил в высотных домах.

Если сказать, что город не любил собак, это будет неправдой... На собак разных мастей — маленьких и больших, кудлатых и безволосых — надевали ошейники, выводили на прогулку. Им говорили «садись», они садились, говорили

«встань», они вставали, и хозяева в награду кидали им сахар, ласкали, и все было тихо и мирно. А этот неотесанный волкодав за одну только неделю укусил рационализатора масложиркомбината Саркиса Мурадяна, продавца пивного ларька Арутюна Кочьяна, шофера Жюльверна Погосяна и еще десять человек, имена которых были занесены в список пострадавших от укуса собак. А пострадавшие с неостывшим ужасом в глазах отвечали на вопросы врача.

— Имя, фамилия?

— Мурадян Саркис.

— Пол?

— Мужской. Не видишь, что ли?

Врач смотрел исподлобья на пострадавшего, выискивая первый признак бешенства.

— Возраст?

— Двадцать восемь лет.

— Место рождения?

— Мартуни.

— Город или деревня?..

— Город, город. Какая там деревня...

— Где работаете?

— На масложиркомбинате.

— Кем работаете?

— Послушай, ты, какое это имеет отношение к укусу! — потеряв терпение, кричал пострадавший. — Совсем совесть потеряли! Укол должны сделать — делайте себе на здоровье и отпустите — у нас тоже свои дела!

— Спокойно, спокойно, — выискивал врач второй признак бешенства. — Если спрашиваю, значит, нужно...

— Если нужно, пиши: иностранного языка не

знаю, родственников за границей не имею, за границей не был.

Врач спокойно смотрел на пострадавшего и задавал следующий вопрос:

— Скажите, кусала ли когда-нибудь собака ваших отца и мать, дедушку или бабушку или их отца и мать?

— И мать твою, и отца, и бабушку с дедушкой! — бушевал больной. — Все, я пошел.

Врач хватал его за руку и еще спокойнее говорил:

— Вы не ребенок. У вас налицо признаки бешенства. Необходимо выловить собаку, чтобы выяснить...

— Чтобы я поймал?.. Собаку?.. — с ужасом кричал пострадавший и, не находя слов, рычал, и глаза его наливались кровью.

— Я ведь говорил... — обращаясь к сестре, многозначительно качал головой врач.

* * *

Начальник вахты Вазген Чобанян и в самом деле происходил из рода чабанов и долгое время был чабаном. До войны он был настоящим пастухом, с буркой, собаками и дубиной, присматривал в Апаранских горах за общественным стадом. Играл на свирели, кричал «гоч, гоч, гоч» отстающим овцам, размахивал в воздухе дубиной, вступал из-за пастбища в спор с курдскими пастухами и знал еще тысячу премудростей пастушьего дела. Началась война. Медицинская комиссия, военком глянули в его свидетельство

о рождении — как будто бы мал для призыва, глянули на него — голый, волосатый, возмужавший — словом, все на месте, и сказали: «Если этого оставить, то с какой совестью других отправим?» Вазген Чобанян воевал, как и все, закончилась война, вернулся. Было у него две-три медали, прицепил он их на гимнастерку и, засунув руки в карманы, слонялся без дела по деревенским улицам, рассказывал односельчанам разные истории и когда увидел, что никто его больше не слушает, заявил: «В город еду». «Слушай, парень, — рассердился старший брат, — все мы воевали, а теперь у каждого свое дело. И с чего ты нос задрал? Чабан ты, так иди чабанить». «Ну, знаешь, — сказал Вазген Чобанян, — нравится ишачить — оставайся, а я в город поеду». И уехал. Ну а по правде — надоумили его. Городу очень нужны были милиционеры. Если ты молод, здоров, смел — можешь стать милиционером. Условия шикарные — зарплата, бесплатная еда, обмундирование, общежитие — пожалуйста, а женишься — дадут квартиру. И личное оружие всегда при тебе. Дело не трудное — приучать граждан к порядку.

К тридцати пяти годам на его красных погонах появилась белая полоска, к пятидесяти годам — две полоски. Потом ему сказали: «Товарищ Чобанян, требования, предъявляемые сейчас милиции, иные, нужны образованные люди, а ты уже пожилой человек, не идти же тебе учиться. Давай-ка отправим тебя на пенсию». Вазгену Чобаняну вручили благодарность, подарили дешевые часы, сказали несколько теплых слов. Вазген Чобанян некоторое время проходил без дела,

по старой привычке делая на улице замечания прохожим, но, увидев, что никто не обращает на него внимания, отправился на завод, что находился рядом с их домом, и стал начальником вахты. Удобная работа: когда хотел — приходил, когда хотел — уходил, в рабочее время ходил по магазинам, надо дома прокрутить мясо — пожалуйста, и за десять минут до конца работы заявлялся на завод. Пусть попробует кто-нибудь пораньше уйти с работы. «Ну? — говорил он собравшимся у входа. — Куда это вы спешите? Может, записать фамилии и передать директору? Верно, каждый из вас норовит унести что-то в кармане. И как вас только земля носит?» — качал он головой и обращался к вахтеру:

— Проверь-ка карманы этих деревенских пацанов. Они не чисты на руку, я знаю.

И в самом деле, у некоторых в карманах находили подшипник, моток проволоки, сломанный напильник. Вазген Чобанян отбирал все и, выложив на ладони, шел к директору.

— Товарищ директор, вот... Уносят, грабят... этот, этот, этот. — Не говорил «деревенские пацаны», а, напрягая память, — «выпускники училища» или как там они называются. — Тысячу раз говорил руководителям, ни тебе порядка, ни бдительности.

Затем довольный шел в проходную и придирался к вахтерам. «Тысячу раз говорил вам, как разойдется народ — уберите проходную, самито небось в хлеву росли, но это вам не хлев, а государственное учреждение...». «Слушаюсь, товарищ Чобанян». Вахтер брал веник и поспеш-

но подметал, а сидящий в углу на тахте Чобанян успокаивался... и тихо-тихо старел.

А сейчас он потерял покой. Из-за какой-то глупой собаки имя начальника вахты Вазгена Чобаняна стало притчей во языцех.

— Товарищ Чобанян, ты что, во Вьетнаме воевал? — пошутил остролов завода и пошло-поехало. Кому было не лень — задавал вопросы, посмеивался, приукрашивая сказанное.

— Вьетнамский партизан Чон-бан-ян...

— Говорят, что и товарищ Чобанян не остался в долгу, укусил собаку, а та взбесилась.

Все это доходило до Чобаняна, у него ныло сердце, и когда темнело и все уходило с завода, он, прислушиваясь к вою собаки, говорил вахтеру:

— Все равно она снова придет. Тогда я покажу ей кузькину мать.

— Что ты делаешь?

— Не твое дело!

— А ежели не придет?..

— Что?.. Придет... Я их хорошо знаю.

— Эх, товарищ Чобанян, вот возьмет и не придет.

— Придет, — хмурил брови начальник, почесывал через бинт раны и продолжал: — Она сейчас тоскует по своим горам. А это место ближе всех к горам. Принюхается к ветру и придет, — Чобанян злобно улыбался и качал головой.

— Что?.. Видать, твоя правда, товарищ Чобанян, — соглашался сторож:

Деда Геворга сыновья привезли в город. «Стыдно, — сказали, — пять сыновей у тебя, все пятеро в городе живут, слава богу, все имеют квартиру, хозяйство. Люди плюнут нам в лицо, скажут, старого отца в деревне одного оставили...» Не дали ему даже слова вымолвить, заперли дверь, посадили в машину и прямо в город.

Это были крепкие трудолюбивые ребята и пока не обженились, жили мирно, дружно, построили дом, каждому выделили по две комнаты, огородили приусадебный участок, сами все своими руками делали, потом переженились, тут все и началось. Спор начался с того — кто на каком этаже будет жить. Поспорили, поругались, ссора с братьев перекинулась на жен, с жен на тещ, на приусадебном участке выросло пять маленьких оград, в пяти маленьких оградах — пять уборных, и когда они не разговаривали друг с другом, в их доме царило пять видов молчания, а когда ссорились — кричали все двадцать пять — невестки, тещи, отцы, дети.. Словом, настоящий цирк — представление для всего квартала. Иногда под Новый год мирились, поздравляли друг друга с праздником, пили, вспоминали холостые годы, детство, но через несколько дней снова начинались ссора и перебранка. И в один из таких дней они порешили, что отца надо перевезти в город.

Сейчас у деда Геворга пять невесток, внуков от девяти месяцев до двенадцати лет, восемь из которых, кривляясь, танцуют перед ним твист, сейчас младшая невестка деда Геворга беременна,

а остальные назло ей тоже забеременеют, сейчас из их квартир раздается треньканье пяти ненастроенных пианино (пианино невестки купили назло друг другу, плевать, что никто не играет), пять радиоприемников ловят Баку, и каждый норовит заглушить голос другого... Для пяти невесток пять раз на дню дед Геворг ходит на рынок и не тужит. Медленно кружит по рынку, выискивая знакомых, справляется о деревне, горах, скотине, и если не находит знакомых, знакомится с кем-нибудь из сверстников, спрашивает, откуда тот родом, скосили ли траву, сколько дадут за трудодень и многое другое.

И когда по дороге с рынка, на трамвайной остановке, он увидел собаку чабана — страшно удивился:

— А ты что здесь делаешь, пес?..

Подошел, погладил, присел на корточки, обнял, почесал за ухом. Пес вилял хвостом, обнюхивал деда Геворга, лизал руки и лицо.

— Эй, люди, кто будет хозяином этого пса? — наконец позвал дед Геворг. Он повернулся в одну сторону, в другую — никто не откликнулся. И снова позвал: — Кто будет хозяином этого пса?

— Увидел, нет, никто не подходит и радостно обратился к собаке: — Пошли к нам.

Он снял с брюк ремень, надел на собаку и как давний знакомый, беседа с ней, пошел домой.

— А где твои овцы, пес?.. Ослепнуть твоему хозяину, что он без тебя нынче делает?.. А чего ты так отощал, сердечный?.. Я тебя накормлю, напою, не вешай хвоста, стыд-то какой..

Увидела собаку жена третьего сына, замерла от удивления.

— Где же ты ее нашел?..

— Жалко ведь скотину, пусть поживет пока здесь, а дальше видно будет.

— Ко мне не пущу, — рассердилась третья невестка, — пусть где хочет, там и живет, — она кивнула в сторону остальных невесток.

Дед Геворг растерялся. Своего дома у него не было, чтобы держать собаку у себя. Побыл несколько недель у старшей невестки, а потом старшая невестка подняла крик на весь дом: «Я ведь не одна, пусть остальные тоже присмотрят за ним». Дед Геворг хотел уехать в деревню, но старший сын не пустил: «Пожил ты у меня, теперь поживи и у других. А вернешься — вся деревня плюнет нам в лицо».

И дед Геворг привык — как минует месяц, он молча собирает свои пожитки в фанерный чемодан, поднимается с первого этажа на второй, спускается со второго на первый.

— Чтоб ослепнуть тебе, — кричала одна из невесток, — рубашку поленилась постирать, — и сама тоже не стирала.

А теперь еще собака. Дед Геворг сидел на пне под стеной и курил. Собака разлеглась у его ног, положила морду на его ногу, и дед Геворг рассеянно гладил ее.

— Не хватит сам у нас живет, еще и собаку притащил, — закричала третья невестка: — Пусть кто хочет смотрит за ней. Я-то пущу, а другие как! Скажут, она ума лишилась, мы-то не спятили!.. Уведи ее, прогони, пусть куда хочет идет...

— Тьфу, — проворчал дед Геворг. — Тьфу... Пошли, с этими собаками лучше не иметь дела.

Он поднялся и, качая головой, ворча, напра-

вился с собакой в магазин. Было у него несколько рублей — купил дешевой колбасы, бросил собаке. Собака жадно набросилась на еду. Позабыв о невестках, сыновьях, забыв обо всем, он смотрел на пса, и его охватило вдруг блаженное чувство, словно сам он ел и насыщался.

Потом они вместе с собакой пошли в сад. Кружилась карусель с картонными лошадками, в бассейне плескались голые детишки, раскачивались в воздухе лодки, где-то играл оркестр — цмпа-цмпа-цмпа.

— Пропади все пропадом, — сказал дед Геворг и вместе с собакой пересек аллею, прошел за фотоателье. Здесь росло несколько тополей, слышалось журчание ручейка. Собака потянулась к воде.

— Пить тебе хочется, сердечному, ну пей, — и снова с блаженным видом посмотрел на жадно пьющего воду пса.

Потом дед и собака улеглись на траве. Дед закурил, погладил собаку и наконец заговорил:

— Другому никогда не сказал бы, а тебе вот говорю — что мне сейчас нужно в этом мире? Вот скажи. Дали бы мне спокойно пожить в деревне, там бы и помер. Взяли, привезли — мол, видали, как мы о своем отце печемся. Ни слов им не сказал. А что мне делать — ведь дураку не стыдно, стыдно его ближним... — И дед потихонечку излил собаке душу.

Когда стемнело, дед Геворг и пес вернулись домой. Сыновья стояли во дворе, подбоченясь, не глядя друг на друга, готовые к драке. Ждали возвращения отца. Отец молча присел на пенек, собака тут же растянулась у его ног. Все молча

изучали собаку, наконец старший брат выговорил:

— На собаку Мхо смахивает.

— Собака Мхо была сукой. А это кобель.

Собака Мхо разбудила воспоминания, воспоминания пятнадцатилетней давности, и братья на минуту забыли, что они в ссоре.

— Седрак и Мхо сцепили своих собак. Поспорили на двух овец. Ведь собаку Мхо звали Чало? — спросил шофер.

— Не Чало, Аслан.

— Да, верно, Аслан. Это собаку Седрака звали Чало. Аслан поборол Чало, но Седрак не дал ему обещанных овец.

Был обычный тихий вечер, из окна каменщика свет упал на деда Геворга и собаку, братья собрались вокруг них и мирно беседовали.

— А говорили, что дал...

— Не дал. Я рядом стоял.

— И я был там, не дал, — сказал штукатурщик.

— Но этот, — прервал его старший, — этот силен, куда собаке Мхо до него.

— А помните собаку курда Наго?..

Но тут отец смиренно прервал их воспоминания:

— А с этим-то что будем делать?

Нет, не было собаки курда Наго, не было Мхо и Седрака со своими псами, ничего не было: ни гор, ни овец, ни тонира, ни деревни. Все было ложью, сном, который пропал, исчез, и от всего этого осталась лишь эта взбаламученная тишина.

Братья подбоченились, и огни сигарет дрожа поднялись вверх.

— Ну?.. — с мольбой сказал отец.

Шофер не спеша ушел, штукатурищик — следом, каменщик бросил сигарету, раздавил ногой и тоже хотел уйти, как отец схватил его за руку:

— За твоей оградой немного места осталось. Поставлю там конуру, пусть поживет.

Каменщик молчал.

— Да, сынок, пусть поживет. Иди, — подтолкнул он собаку. — Говорил ведь; что господь милосерден...

Он быстро повел собаку за ограду каменщика, собрал тряпье, расстелил, уложил собаку, откуда-то раздобыл старую миску, налил воды.

— Поживи здесь, покуда придумаем что-нибудь.

Дом утихомирился. Перед тем как лечь спать, дед Геворг снова пошел взглянуть на собаку. Собака спала, уткнувшись мордой в лапы.

— Ну спи, намаялся, сердечный, — сказал дед и, мысленно благословляя своего сына-каменщика, заснул.

Он так и не понял, когда собака начала выть. Намаялся за день — крепко спал. Когда проснулся, увидел на балконе своих сыновей, невеселых, которые ругали друг друга на чем свет стоит.

— Ежели решил держать ее, повел бы к себе в дом, — кричала жена шофера, — твоего воя мало было нам, теперь эта...

Они, по-видимому, крепко поругались, иначе не заорал бы шофер во всю глотку:

— Что же из-за одной собаки поубиваем друг друга?

Дед Геворг не успел даже патянуть брюки, как вдруг вой собаки перешел в жалобное поскуливание и, отдаляясь, затих в полуночной тишине.

— Кто ударил?.. Кто ударил?.. — Дед Геворг в темноте никак не мог попасть ногой в штанину.

— Подохла?.. — спросил сверху старший сын.

— Нет, — сказал шофер, отшвырнув в сторону лопату, — в ногу попал — удрала.

— Ох, — простонал отец... — Чтоб вам пусто было...

Дед Геворг до рассвета искал в полночном городе собаку. Не знал даже как позвать ее. Останавливался, прислушивался к звукам и, приложив руки веером ко рту, звал:

— Эй, пес!.. Пес... Эй, пес!..

* * *

Асфальт размяк от полуденного зноя. Собака, поскуливая, хромая, искала тенистое место, когда издали заметила овец — позабыв про жару, боль в ноге, страх перед машинами и трамваями, она одним духом пересекла улицу и бросилась к овцам. Она визжала от радости, обнюхивала их, подходила то к одной, то к другой, облизывала, тыкалась мордой в шерсть, снова обнюхивала, радостно виляя хвостом, и глаза ее не то от радости, не то от тоски влажно блестели. Хозяин овец — обычный городской спекулянт, ко-

торый ошарашенно смотрел на собаку, тут же смекнул:

— Говорил ведь, что не спекулянт я, а вы не верили, — сказал он собравшимся вокруг овец людям. — Вот моя собака. Разве спекулянт станет ходить с собакой?.. Бобик, спокойно...

Собака, безразличная ко всему, обнюхивала овец, фыркала, снова обнюхивала.

— Вот это собака. Настоящий волкодав, — заметил кто-то из толпы. — Нет, верно человек говорит, какой он спекулянт.

— Какой там спекулянт, бросил свои дела, пришел вот в город. Бобик, спокойно. На его счету восемь волков. Видите, как любит их. Это ведь его овцы...

— Да-а, — сказал парень с обросшим лицом. — Молодец, братец. Сколько возьмешь за ту черную овцу?

— Сорок пять.

— По рукам.

Он отсчитал деньги, отдал хозяину и только схватился за свою овцу — как вдруг собака присела на задние лапы и, готовая к прыжку, рыча оскалила зубы.

— Знаешь что, братец, подай сам овцу, не мое это дело, — испугался покупатель.

— Бобик, — позвал спекулянт и попытался улыбнуться. — Бобик...

Собака загородила овец, прижала их к стене и злобно смотрела на толпу.

— Чего ж ты стоишь?..

— Сейчас, — запинаясь, проговорил спекулянт. — Бобик, спокойнее. — Он сделал шаг, боязливо протянул руку к овце, но собака зарычала еще злее, и он застыл на месте.

Собравшиеся засмеялись, смех привлек внимание других прохожих.

— Погодите, — сказал спекулянт, — она иногда становится бешеной, с ней это бывает. Сын-нок, сбегай-ка в магазин, купи чего-нибудь. — Он протянул деньги мальчику. — Сейчас мигом успокоится.

Собака лаяла, посматривая на людей, теснила овец и снова лаяла.

Мальчик принес колбасы.

— Ну вот, — сказал спекулянт, взял колбасу, бросил собаке. — На, ешь, скотина...

Собака яростно набросилась на колбасу, ворча принюхалась и снова вернулась к овцам, загородив их собой.

— Слышишь, мне некогда, — дернул спекулянта за рукав обросший парень, — машина ждет.

Спекулянт беспомощно почесал голову.

— Вот наказание. Что же мне делать?

— Разве это не твоя собака?

— Собака, собака, откуда я знаю, чья это собака? А ну катись отсюда, — закричал он на собаку, наклонился, чтобы поднять камень, собака снова рыча оскалила зубы.

— Давай деньги, я пошел.

— Эй, хозяин, уведи-ка свою собаку... — крикнул спекулянт. — Пошел...

— Позвони, пусть придут заберут.

Жара. Ни ветерка. Воздух раскаленный, как огонь. Зевак становилось все больше, они дразнили собаку, бросали в нее камнями. Собака разъяренно бросалась на них, отгоняла, затем снова бежала в овцам.

Приехали. На специальной машине, со специальными вилами. Трое.

— Ах вот ты какая, — посмотрев на собаку, сказал пожилой. — Нам ее уже описали, волкодав, масть — буро-желтая, уши обрезаны, бросается на людей. Десять дней ищем. А ну, отойдите, бешеная она.

Они оттеснили зевак и, вытянув вилы, с трех сторон медленно двинулись на собаку.

— Лаешь? — проворчал пожилой. — погоди, погоди. Сегодня сдерут с тебя шкуру, завтра высушат, послезавтра скроют обувь... Вот так, братец.

— Аршо, — позвал пожилого товарищ. — Осторожнее, эта, видать, сразу набросится.

— Аршо, — крикнули из толпы, — с детьми-то попрощался?

— Помолчите, — не оборачиваясь сказал пожилой, — мешаете ведь, дайте поработать.

Они подошли с трех сторон. Сзади были овцы и стена, собаке некуда было отступить и, прижавшись к овцам, она яростно лаяла.

— Сейчас, сейчас. — сказал пожилой, вытягивая вилы. — Ты хватай за лапу...

Товарищ с вилой в руках бросился вперед, вилы зацепили собаку, но пока Аршо подросел, собака сорвалась, отбежала в сторону и неистово залаяла.

— Черт, зубья узкие, — сказал он, подняв вилы.

— Оставила клочок шерсти, а сама удрала.

— С головы начинайте, — сказал Аршо. — Погоди-ка.

Он обошел ее, зашел с другого края. Собака стояла посреди овец.

— Дура, — крикнул кто-то из толпы. — Удирай, чего стоишь.

Собака не удирала. Металась из стороны в сторону, бросалась на овец, отгоняла на несколько шагов, снова возвращалась и бешено рычала.

— Тоже мне специалисты по ловле собак, — насмеялись из толпы.

Пожилой, видимо, разозлился. Плюнул в ладони, растер, крепко взялся за вилы.

— А ну отойдите.

В римском цирке с Смбата Багратуни сняли цепи, привели на арену и сказали приговоренному к смерти — ежели ты победишь льва, даруем тебе жизнь. Император и его придворные со своей императорской высоты следили за поединком. Смбат Багратуни победил льва, император бросил свой платок на арену — да здравствует Смбат Багратуни! Нет, это был не цирк, и ловец собак Аршо не был Смбатом Багратуни, а собака чабана — львом, но Аршо, как Смбат, бросился вперед, закружил вилы вместе с головой собаки, собака повисла в воздухе и — да здравствует Аршо! Собака металась из стороны в сторону, пытаясь высвободить голову.

Аршо сорок лет кряду ловит собак, собаку съел на этом деле, теперь, крепко держа вилы, он должен зайти сзади, оторвать собаку от земли и — баста. Аршо зашел сзади, оторвал голову от земли и вот-вот должен был оторвать ноги, когда собака отпрянула назад, повалила на бок Аршо, покатила вместе с ним по земле, и пока

товарищи подоспели — ее и след простыл. И когда разбежавшиеся от страха люди подбежали к Аршо, они увидели, что у того разорвана щека.

— Нет, этого пса надо пристрелить, — порешила тройка.

* * *

Вой собаки раздался за полночь.

Вазген Чобанян лежал на тахте. Услышав вой, он тут же вскочил и увидел, что вахтер Енок Дарбинян дремлет, сидя на стуле.

— Ты сторож или кто?

Енок вскочил, продрал глаза, хотел что-то сказать, но Чобанян не дал.

— Тихо. Слышишь?

— Ууу... ууу... -- в темной тишине надрывалась собака.

— Смотри-ка... Пришла?..

— Пришла, а как же... Я ведь говорил, придет. Говорил ведь, что понимаю их язык. Он взял у Енока ружье, проверил затвор. — Я знал, что она сегодня придет, с гор дует ветер, ее и потянуло на ветер. — Чобанян прочистил горло и бросил начальственным тоном: — Что скажу, то и сделаешь.

— Слушаю, товарищ Чобанян.

Вазген Чобанян вытащил из стены кирпич.

— Подойди. Ружье поставишь сюда. — Он просунул ружье сквозь отверстие. — Встанешь на колени. Смотри, как хорошо видно отсюда, целишься прямо в голову. Как скажу стреляй — выстрелишь.

— Слушаюсь, товарищ Чобанян.

Чобанян повернулся, повертел прожектор, и прожектор не заскрежетал как раньше, он заранее смазал его.

В сноте света появилась собака, вытянув морду к ветру, она сидела на обочине.

— Ты что, хочешь подойти к ней? — испуганно спросил Енок Дарбинян.

Чобанян вышел. Небо было усеяно звездами. Неподалеку прошел трамвай, на минуту заглушав вой пса.

Опустившись на одно колено, держа наготове ружье, Енок Дарбинян увидел, как Чобанян прошел вперед, встал около стены и вытащил из кармана свирель. И чабан Вазген заиграл. Залилась трелью свирель в полуночной тишине, мелодия смешалась с ветром и прохладой, принесся с собой оставшиеся вдали горы, скалы, зеленые пастбища и овец, приблизила их, сделала ощутимее. В его игре слышалось блеянье овец, мычание коров и журчание студеной родников, были покачивающиеся на ветру красные-красные маки, изумрудная зелень гор. Мелодия летела на крыльях, касаясь скал и утесов, и душа землепашца растворялась в ней, струилась волнами, благословляя создателя и творца за эти зеленые-зеленые-зеленые горы, за полет жаворонка и его призыв, за шелест ветра и свободный-свободный мир, и колышущиеся в этом свободном мире волнами стада овец... Сторож Енок застыл у щели. Чабан Вазген с закрытыми глазами играл на свирели, и Енок, позабыв и о своем деле, и о собаке, и о ружье, зачарованно смотрел на полночное видение и отрешенно шептал:

— Вот это здорово, ой, как здорово...

Вой пса оборвался.

— Идет, — сказал чабан, — осторожнее.

И снова заиграл чабан Вазген: теперь его песня рассказывала о невесте, несущей хлеб подпаскам, запахе и жаре тонира и соленом поте земледельца, который как мирра покрывал его лоб и освящал его...

Играл чабан Вазген, полузакрыв глаза, а начальник вахты Вазген Чобанян, полузакрыв глаза, следил за собакой. Собака подходила, качая головой. Она шла с трудом, волоча хвост между ногами, всклокоченная, отощавшая, подходила со сдержанной радостью существа, обретшего своего родного друга, чтобы больше никогда не разлучаться с ним. Подошла и рухнула у ног Вазгена Чобаняна.

— Видишь, — сказал начальник вахты Вазген Чобанян, и чабан Вазген снова заиграл.

Собака уткнулась мордой в лапы, она дышала ровно, спокойно.

— Видишь?

Играя, Вазген Чобанян отошел на шаг.

— Стреляй...

— Чего? Выстрелить что ли?

—

Ц М А К У Т

— Вот шлагбаум, видите? Ступайте к нему да подождите. Бывает, машины туда заезжают за грузом. Попроситесь — может и подвезут вас.

— Чего там проситься, — бросил малый, подпиравший стенку.

Я взглянул на него. Это был смуглолицый парень лет двадцати, в брюках модного покроя «холодидей». Брюки были неглаженные, грязные.

— Подбросьте чего-нибудь, — продолжал парень, — так и вас подбросят. Чего там проситься? — И стал высвистывать одну из песенок Розы Армен.

У самого шлагбаума стоял вагон. Голый по пояс мужчина, тоже насвистывая, грузил дрова; мелькали руки его напарника, выглядывавшего из вагона. Рабочий свистел с усердием, и, хоть среди поленьев попадались тяжеленные, свист нисколько не ослабевал.

В тени вагона сидело рядышком человек десять-двенадцать. Тень постепенно укорачивалась, и люди сбивались все теснее, время от вре-

мени лениво обмахиваясь мокрыми платками.

— Ну, жарища!

Они вяло роняли слова, разморенные длительным ожиданием, иногда внимательно и молча упирались глазами в нас — в меня и жену, опустивших рюкзаки на землю и стоявших на солнцепеке. Понятно, мы были чужаками. Они молчали, молчали, и, наконец, один не выдержал.

— Куда это путь держите?

Я подошел к ним.

— В село Цмакут.

— Ц-ма-кут?

— Что же в этом особенного?

— Да ничего.

— Цмакут?

— Ну да, нам надо в Цмакут.

— Гм-гм-м... трудненько это...

Я много слышал о Цмакуте, знал, что от станции Туманян до Цмакута около тридцати километров пути. Так что же тут «трудненького»?

— Дорога трудная, дорога! — пояснили они. — Туда маловато ездят.

— Небось, по делу вы, не ради забавы, — сказал мужчина с рябым лицом и насмешливо уставился на мои темные очки.

Я снял очки.

— Слава богу, — оживился он, — хоть увидим, какое у тебя лицо. К кому едете?

— К товарищу.

— А что, разве автобус здесь не ходит? — наивно удивилась моя жена. Мы, мол, городские, привычные к автобусу.

Мы поехали на грузовике, перевозившем муку. Ладно, это не беда. Нам-то всего день вытерпеть,

несколько часов. Вытерпим. Машину вот жаль, машину... Она ныла, постанывала, жаловалась... Да, дорога была не из отутюженных дорог Еревана. Сидевший рядом со мной старичок разговаривался — о картошке, о сенокосе, о том о сем. Потом заерзал, устраиваясь поудобнее, и вдруг завел речь о скотине. Скотина болеет...

— Отец, а ты что, работаешь?

— А как же! — Он разгладил усы, приосанился, прокашлялся. — Я пастухом работаю. По-вашему — животноводом. — Подумав и словно с кем-то мысленно споря, он нахмурился и добавил: — Пока есть в руках сила, буду работать.

...Моя жена, вскрикнув, закрыла глаза: мы висели над пропастью. Храбрясь, я стал успокаивать ее, а водитель прямо над пропастью притормозил машину и высунулся из кабины:

— Что случилось, сестренка?

Уже потом, когда машина снова запричитала на ухабах, я взорвался:

— Ну ладно, скажем, дорогу сделать трудно. А вертолет приобрести — тоже проблема?

— Вот если бы из тех, больших... — подхватил старичок.

Это он об ИЛ-18.

Село Туманян прервало наш разговор.

...И, укрывши лоб ладонью,
Думу думает печально.
Хочет ли чего — не знаю.*

Хочет, конечно. Село теперь хочет телефона.

* Из Ов. Туманяна

Вон линию тянут. Я вспомнил рассказ моего товарища. В этих краях телефон появился недавно, и вот сторож какого-то колхоза звонит, скажем, в соседний колхоз, тоже сторожу.

— Слышишь меня?

— Ага!

— Говорю, хорошо слышишь?

— Ага, хорошо!..

— Ну, выходи тогда, потолкуем малость.

Потом выходят — каждый на свою скалу — перекликаются друг с другом, «толкуют». А скал здесь много, не счесть их в этой стране, что зовется Айастан. И мне приходит в голову, что если бы не эти вот скалы — кто знает, какой оказалась бы наша участь. Говорят, в Чехословакии, или где-то еще, чтобы убереечь оленей, перебили всех волков. Спустя некоторое время у оленей исчезло чувство страха, а с ним и сопротивляемость организма, и бедные олени стали гибнуть. Волей-неволей пришлось завезти волков из-за границы и пустить их в леса, чтобы... сохранить оленей. Если это так, то такими «волками» в стране Айастан были ее скалы, заставляющие людей трудиться, трудиться, поливать потом и кровью каждую пядь этой каменистой земли. Те же камни пробудили в человеке строителя, ваятеля, зодчего, и он создал храмы — Гарни, Звартноц, Ахпат... И что самое главное, — эти камни сделали наш народ поразительно выносливым, способным противостоять всем капризам судьбы, пережить тысячи бед и испытаний...

Мы уселись у стола. Мать моего товарища и его младший братишка, мальчик лет десяти, молча и выжидательно глядели на нас, а мы не зна-

ли, что делать дальше. Жена обмахивалась платком, искоса поглядывая то на меня, то в сторону видневшегося напротив леса. В густой зеленой его листве желтой вспышкой выделялось высохшее дерево.

Молчание угнетало... Клеенка на столе в синюю клеточку. Некое подобие веранды оплетено алюминиевой проволокой — чтобы куры не забредали в дом. Проволочные нити натянуты то впритык, то пореже и не параллельны друг другу. Над селом — ленивая зыбь зноя, колеблемая лишь жужжанием пчел. В тени копны сена развалилась собака, высунула язык.

Отца дома не было...

Нет, надо на что-то решиться. Так молчать больше нельзя.

«Дайте нам попить холодного тана,* и я пойду поищу машину, поедем обратно...» — твердил я мысленно, но вместо этого сказал:

— Как детишки-то, здоровы?

— Да, ничего, — суровым голосом ответила матушка Вардуш.

Жена снова посмотрела на меня, — мол «говорила же, поедем на море».

Я вытер со лба пот. Жужжание пчел было невыносимо.

— Ну чего сидишь? — вскрикнула мать так неожиданно, что мы вздрогнули, — а ну вставай, режь курицу!

Мальчик вскочил, опрокинув стул. Я хотел было удержать его, но мать не дала мне и слова вымолвить.

* Молочная сыворотка.

— Пропади ты пропадом, чтоб глаза мои тебя не видели! И в кого ты только пошел? — закричала она на сына. — Я тебе что сказала, растяпа, — курицу или цыпленка?.. — Она вырвала из рук парнишки цыпленка, проворно поймала курицу и в следующее мгновение отхватила ей голову неизвестно откуда взявшимся топором.

— Смотри, чтоб перья кровью не замочило. — Она отдала трепыхавшуюся курицу своему растяпе, вернулась, уселась на свое место, сложила руки на коленях. На одну лишь секунду она отвела глаза, удостоверилась, что сын держит курицу как надо, и снова хмуро уставилась на нас. Было нестерпимо жарко. И тихо. Я закурил сигарету.

— Сколько пробудете? — наконец спросила она.

Я пытался и не мог определить по выражению ее глаз — хочется ли ей, чтоб мы остались.

— А сколько бы вам хотелось?

— Нашего хотенья мало.

— А все же?

— Коли меня спросить, чего я только не хочу... — Она снова насупилась. — Если останетесь до матаха,* оставайтесь. А нет, так хоть сейчас скатертью дорожка.

— А когда матах?

— В воскресенье.

— Значит, через три дня... Ну что ж, можем и остаться.

* Жертвоприношение.

Матушка Вардуш внимательно посмотрела на меня, слегка прищурилась, прикидывая, — не вру ли я, и вдруг ее прорвало:

— Ну, конечно, оставайтесь, голубчики! Те не захотели, так хоть вы побудьте... — и заплакала.

Она плакала как-то по-мужски, высоко вскидывая плечи, стараясь сдержать слезы.

Нет, моя жена ничего не поняла. Ей было ясно лишь то, что женщина плачет и что кто-нибудь должен быть рядом с плачущей женщиной. Вот она и подошла к ней и робко, а потом крепко обняла ее за плечи.

— Да, да оставайтесь, голубчики, — повторяла матушка Вардуш, смешав в одно улыбку, суровость лица и слезы, — душа у меня болит...

Она утерлась передником, успокоилась и, застыдившись своей слабости, встала с места, решительно, по-мужски — раз, два! — подхватила наши рюкзаки и унесла их в дом. Я хотел было помочь, но не тут-то было. Она оттолкнула меня так, что я отлетел к стенке.

— Спать будете здесь. — И она тотчас притащила из соседней комнаты одеяла, подушки, матрацы и тут же постелила нам, словно вот сейчас, немедленно, мы ляжем спать. — **Авет**, неси воду, — приказала она сыну, — **поживей**, поживей!

Матушка оставила нас, подбежала к сыну, взяла у него курицу, пододвинула тазик и стала быстро-быстро ощипывать ее.

— Я помогу вам, — подошла к ней моя жена.

— Не твое это дело.

— Ну хоть что-нибудь дайте и мне сделать, — все еще стесняясь улыбнулась моя жена.

— Ладно, бери. Перья, смотри, не забуди. Знаю я вас...

Доверив жене курицу, она взяла топор и рванулась к огромному пню. Я еле уговорил ее уступить мне топор. Она отошла, присела перед печкой, наполнила ее сучками, подпалила их, раздула пламя. И когда я наконец отколол от пня несколько крупных щепок и выпрямился, чтобы перевести дух, увидел, что матушка задумчиво разглядывает меня.

— Ты ровно безрукий. Хлеба что ли не ешь, сынок?.. — Сказала, подошла, выхватила топор, размахнулась и — как даст! Не только пень, и камень не устоял бы.

Авет, сгибаясь под тяжестью ведер, принес воду.

— Наливай вот в ту посудину, ставь на огонь, — не переставая рубить, скомандовала мать.

И снова — тр-рах по пню. В ее движениях, несомненно, было что-то нарочитое. С такой силой и в таком темпе ни один человек не проработает и часа. Нанося удары, она, должно быть, ловила краешком глаза мой удивленный взгляд, ударяла еще сильнее, выдыхая при каждом взмахе: «Эх! Эх!». Через две-три минуты она нагрозила меня поленьями по самые брови и с усмешкой спросила:

— Не тяжело ли?

— Да нет.

— А то ведь не знаю...

Она подвела меня к печи, я сбросил свою ношу. Потом присела на корточки, впихнула в печь

несколько поленьев, дала пламени разгореться и обернулась к моей жене.

— Не загуби перья.

— Не загублю.

— Ну и молодчина. А то эта учителька говорила: «Это же всего-навсего перья!» — Она состроила гримасу.

— Какая еще учителька?

— А ваша любимая Шушик.

Это она о своей невестке.

— Ну да... — Мать поймала заинтересованный взгляд моей жены. — По утрам спала до девяти, потом потягивалась... Пока детей накормит, смотришь, полдень уже.

— Кашу им варила, — ввернул Авет.

— Да, кашу варила, — мать села, скрестила руки, и я понял, что разговор еще только начинается.

— Ребенка Арменом звать, а она его Арменчиком звала, — снова вставил Авет.

— Ну-ка, помолчи!.. «У-вас-мух-мно-го!» Делать мне нечего, только что за мухами гоняться...

Вода на печи вскипела, заклокотала. Оборвав себя на полуслове, мать встала:

— Снимай рубаху.

— Это еще зачем?

— Снимай говорю! — скомандовала она, не дожидаясь моего согласия, охладила воду, принесла таз и, недолго думая, вылила мне на голову ковш воды.

— Ой, горячо!

Но куда там! Одной рукой она пригнула мне голову, а другой быстро-быстро, перебирая паль-

цами, намылила ее... Наконец, накинув на меня полотенце, опустилась на корточки.

— Ноги не надо.

— Помалкивай. Давай.

Но я не дался.

— Дочка, — позвала она мою жену, — поди-ка, вымой ему ноги.

И моя жена кротко и смиренно, не вымолвив ни слова, впервые в жизни вымыла мне ноги.

Вечер наступил сразу, лес потемнел и вдруг словно вступил в деревню. Воздух посвежел.

— Мама, мама, мама-а-а!..

Голоса перелетали с горы на гору.

— Чего-о, чего-о?..

— Пригнать ягня-а-а-т?.. Пригнать ягня-а-а-т?

— Не надо, не надо, рано еще!

Взрослые уже парни, по пять, по шесть лет, перекликались, аукались на горных пастбищах. Так они перекликаются, ходят в школу, таскают воду, колят дрова и вдруг... становятся мужчинами. Становятся мужчинами и уходят косить траву. Становятся мужчинами до того, как природа позаботится ввести в их детские голоса непокорные басовые нотки. Умеешь косить траву — значит, уже мужчина.

— Умеешь траву косить?..

Луна светилась золотом. Вверху поблескивали Большая медведица, Малая медведица, Лебедь — внизу мерцал Цмакут.

Чуть поодаль ветер трепал одинокую липу, утихал, переводя дух, потом снова принимался за липу. Поблизости, хрупая травой, паслись ягнята, а еще ближе сидел Авет, вопросительно смотревший на меня.

— Нет, не умею. А ты умеешь?

— Ага, умею. Как начну косить, вот столечко не остается, — он нагнулся и показал: — Нет, нет, столечко.

— Я вижу, ты настоящий мужчина.

— Ну! — возликовал Авет.

— Авет-мавет, носу привет! — сказал я.

Он пришел в еще больший восторг и закричал:

— Манук-чанук, носу каюк!

Потом встал, приосанился и, кое-как дотянувшись рукой до моего плеча, как равный, пошел со мной следом за ягнятами.

Потом он заговорил о семье брата.

— Они до восьми-девяти дрыхли...

— Да не может быть!

— Я уже и ягнят выгнал, и воды принес, и дров наколол, а они все спят.

— И брат тоже?

— Бывало, тоже, а бывало, встанет спозаранку, усядется под деревом и курит. — Он вытянул руку по направлению к дереву, которое я не смог различить в темноте. — А раз с полчаса косил, так вечером заохал: «спину ломит»...

Вот так они и взрослеют, а потом в один прекрасный день с аттестатом зрелости в кармане улепетывают в город. Не попадут в институт — устраиваются в техникум, не попадут в техникум — идут в училище... А матери остается... родить еще одного ребенка. И тот тоже с пяти-шести лет начинает становиться мужчиной, тоже насмехается над старшим своим братом, который, по советам говоря, скорее годился бы ему в дядя.

— В мягком вагоне прибыли... В жестком переломали бы косточки...

— Что же в этом особенного? Захотелось им в мягком — вот и поехали в мягком.

Он подумал с минуту, колеблясь, ответить или нет, но, увидев мою улыбку, отрезал:

— Пусть бы сам ехал в мягком, а их жестким отправил.

— Кого «их»?..

— Ну жену хотя бы.

— Это еще для чего?

— А для того, чтобы... чтобы она не корчила из себя барыню перед моей матерью.

— Как это понять?

— А вот так... мы тоже грамотные. Все видим.

— Что же ты видишь?

— Не скажу.

Он замолчал. Ветер снова принялся за одинокую липу. Снова вынырнула луна из-за облаков, и огоньки потускнели.

— Почему заскучал, а, парень?

Авет не ответил.

— Авет, Авет-джан, — я положил руку ему на плечо, он сердито отстранился, — ведь мы же друзья.

— Ну и что же из того, что мы друзья... --- В голосе его послышались слезы.

— Раз так, мы должны поговорить начистоту.

Я не знаю, что он прочел тогда, в темноте, на моем лице, но он утерся рукавом и с вызовом произнес:

— Нацепил резиновые ботинки, ходил с задраным носом.

— Какие резиновые ботинки?

— Спортивные.

Ах вот оно что! Это он о сыне моего товарища.

— Да ведь ничего особенного в них нет! — попытался я вступиться.

— А пропади они пропадом! — продолжал он, распаляясь. — Или еще приемник его... Вот с такую коробочку. — Он показал ладонь. — Музыка играет, я слушаю, а он, как девчонка, задом вертит.

Ягнята, семенявшие перед нами, спустились с пастбища. Вокруг простиралась мгла. Мы молчали и было слышно, как ветер теребил иссохшие кусты. И только когда мы были уже близко от дома, Авет вдруг закричал:

— Мама, мама!.. Загна-ать ягня-а-ат?

— Оглушил, окаянный, — в темноте совсем рядом с нами проворчала мать. — Загоняй их в хлев, да дверь заложи.

Отец друга, которого днем не было дома, тихо сидел на тахте, поджав под себя ноги. Увидев меня, он медленно привстал, пожал мне руку, изобразил на лице некое подобие улыбки и сел на место.

— Вы устали, наверное, — сказал я.

— А?.. Да нет... сено косил.

Ему было под шестьдесят. Худой, с обветренным морщинистым лицом старик и сам, должно быть, не знал — стар ли он, молод ли... Руки у него были большие, сильные.

— Как живете?

— Хорошо живем, — поднял он голову, — а вы как поживаете, товарищ Манук?

Глаза его блеснули.

— Что за «товарищ»?

Он усмехнулся.

— Да так... Сказал, чтобы не обидеть тебя.
Нет, не стар он еще.

— Обидеть? Что ты, уста!

Лет пятнадцать-двадцать назад он плотничал, и тогда его называли «уста». Потом кто-то из односельчан, вернувшись из армии, привез трофейный рубанок. И поскольку рубанок был немецкий, появился и новый плотник, и от старого плотника осталось лишь его прозвище «уста».

— Э-э-э!.. — спохватился отец, — хорошо живем, Манук-джан. Работаем себе и живем. — Он снова поджал под себя ноги, закряхтел, опустив голову.

Нет, стар он уже... Я предложил ему сигарету, он отказался. Мы долго сидели молча. В тишине слышалось вечернее пение цикад, иногда прерываемое птичьими криками, доносившимися из леса.

Вошли мать и моя жена. Жена несла подойник и была радостно возбуждена.

— Матушка Вардуш научила меня доить!..
Джз-вз, джз-вз!

— Да, — просияла мать, — чему хочешь научу, только учись — и вдруг, нахмурившись, обратилась к мужу: — Ну чего расселся, как хан ту-рецкий?

— Да мы тут толковали...

— Потом потолкуете.

Отец тяжело спустился с тахты, почему-то втянул голову в плечи и, волоча ноги, вышел во двор. Немного погодя в темноте двора заколебалось пламя фонаря. Отец вернулся не скоро.

* Мастер.

-- Где был?

Старик задул фонарь, потоптался.

— Овца приболела...

Мы молча поужинали. После чая отец кивнул мне, и мы вышли.

Свет, падавший с веранды, освещал лишь часть двора. Мирно шелестел лес.

— Может... может, если дашь телеграмму, возьмет да и приедет? — с трудом выговорил он.

— А почему они уехали?

— Как тебе сказать... — замялся старик, — и говорить-то стыдно. Я им велел: не вздумайте и заикаться об отъезде. Вечером вернулся, смотрю — уехали...

— А каково мне? Он ведь знал, что мы тоже приедем. А если уехал, не дождавшись, к чему телеграмма?

Я не смог скрыть досады. Отец понял это, присел рядом, помолчал, потом заговорил:

— Его вина тут невелика. Свекровь с невесткой не ладили. А вернее, со сватьей. С матерью снохи, то есть. Вот и хожу я по селу, голову опустив. Хоть бы матаха дождались... — Старик вздохнул. — Я же целых два года и четыре месяца не видел его...

— Да ладно, — примирительно сказал я, — успеется... Вот приедет еще раз, тогда и зарежь-те ягненка.

— Ящур у скота. Ягненок может подохнуть. Успеется, говоришь? — Он помолчал, потом снова заговорил: — Другим ягням только одно лекарство даю, этому — десять. Я хоть и не шиб-

ко верю в приметы, но и в селе-то все знают, — мы ягненка этого освящали у Зоравора.*

— А кому матах?

— Внуку, Армену. Бабушка обет дала...

Мать окликнула нас из дома. Отец словно чего-то испугался, вздрогнул, потом закричал и побрел в дом.

Матушка Вардуш разбудила нас чуть свет.

— Поторапливайтесь, поторапливайтесь! Опоздаем — ничего нам не достанется.

— Почему?

— А потому... Кироваканцы научились из малины компот варить.

Еще с вечера она решила повести нас в лес за малиной.

— Вставайте — она сдернула с меня одеяло. — Завтрак я возьму с собой, там поедим.

— Хоть бы кто дома остался — ягням лекарство дать, — недовольно пробормотал отец.

Никто не остался. Мы вышли из села, сопровождаемые пением петухов. И даже пес Занги, кинувшись под ноги Авету, приласкавшись к нему, пошел вместе с нами.

Стояло прохладное тихое утро, и был как раз тот час, когда, немного озябнув, натягиваешь на голову одеяло и еще часа на три зарываешься в сон. Мне казалось, что в селе еще никто не проснулся, но по пути мы встретили несколько косцов. Они несли свои косы, как знамена, мы шепотом ответили на их шепотом же произнесен

* Всемогуций.

ное приветствие. Почему эти люди в это раннее утро поздоровались так тихо — я не понял.

Авет и пес мелькали далеко впереди, время от времени оглашая ущелье радостными визгами. Мать вышагивала по-мужски размахивая руками, и то и дело сердилась, досадовала...

— Ни одной ягодки не оставили, проклятые! И кто это подсунул под них машины!

Так ругала она кироваканцев, приезжавших на машинах собирать малину.

— А этот-то, хорош! Свои мозги на собачьи променял. Положись на такого, — пропадешь ведь, пропадешь! — Это относилось уже к Авету, попавшему в поле ее зрения. И в следующую минуту она указала на огромный дуб и вознегодовала: — Вот под тем деревом они шашлык делали...

Она постояла, выжидая, пока мы поравняемся с ней.

— Этот наш недоумок хотел потроха в дом нести, а теща — ему: «Не нужно». — «Не нужно» мать произнесла по-русски. — Чтоб это «не нужно» боком тебе вышло!

Она передала мне свою сумку и теперь стояла словно на сцене перед зрителями: деревьями, скалами, речкой, только не перед нами, нет.

— Хоть бы кто спросил, кого она удивить собралась... Ха! Губы покрасит и в туфлях на тоненьких каблучках — топ-топ. Эх ты, тикин Арвхат!.. Не вчера ли ты из деревни в город попала? «Наша ванна, наш ту-ва-лет, наш кран...» Подумаешь! Небось, если б сбегала раз по воду, задом не виляла бы... Бедный мальчишка-то наш отощал, воду им таская. Авет, убью! — завопила она вслед сыну, почти уже скрывшемуся с глаз вме-

сте с собакой, и продолжила: — Если б она хоть родилась не в деревне...

Тещу моего товарища я знал. И знал давно. Но ни разу не видел ее с накрашенными губами и не помню, чтобы она сидела без дела. И понадобилось же бедняжке краситься да прихорашивать-ся именно здесь!

— Да не принимай ты эти мелочи близко к сердцу, матушка Вардуш!

— Я вот на этого дурачка и злюсь. Мне привез туфли, отцу брюки, Авету — рубашку... А где нам эти обновы показывать? В оперу не ходим. В чертовой штуковине той не бахвалимся, чтобы весь свет на нас таращился...

— В какой этой чертовой штуковине? — спросил я.

— Да в телевизоре!

Это прозвучало как — «замолчи!» Я и замолчал. Она — тоже. Мы двинулись по узкой извилистой тропке к ущелью. Со дна ущелья доносилась воркотня стиснутой между скал речонки. Я с изумлением смотрел, как встает солнце, как постепенно светлеет ущелье, еще кое-где подернутое утренней мглой.

Мать взяла у меня из рук сумку.

— Коли дашь телеграмму, придет?

Я втянул голову в плечи.

— Пошли, сынок! Только отцу ни слова.

Мужские ее замашки вдруг исчезли.

— Считай, — она взяла меня за руку, — если сегодня пошлешь, он сегодня и получит, а вечером выедет и утром как раз поспеет на матах.

— Погоди, — сказал я, — давай присядем,

отдохнешь немного и заодно расскажешь, из-за чего они вдруг уехали.

— А ты пошлешь телеграмму?

Она швырнула сумку на траву и уселась рядом.

— Значит, приехали они... Дети так выросли, так похорошели.

— Дальше?

— Побыли неделю, щеки у детей налились, как яблочки... Чтoб ни дна им, ни покрывки, родителям их...

— С чего же у вас нелады пошли?

— Нелады?.. Ах, да. Вечером, значит, спрашиваю, в каком вагоне ехали. А невестка — в мягком, мол. А я, что правда, то правда, не выдержала и говорю — если бы в жестком приехали, кости что ли переломали бы? — Мать повернулась, схватила меня за руку. — Это почему же, когда я в город отправляюсь, да еще сто кило поклажи на себе тащу, даже билета не покупаю? Суну что-нибудь проводнику, он и везет.

— Дальше?

— А дальше, Манук-джан, все я им выложила, что на сердце.

— И что же ты им выложила?

— А то и выложила, что заманили они моего ребенка в свой дом, да и сели ему на голову... Вот так... Два года сын с отцом не виделись.

— Да он бы приехал, если б захотел. Кто его за руку держит?

— Еще как держит! «Айваз, отведи ребенка, Айваз, приведи ребенка. Айваз, покачай ребенка»... У бедного кожа да кости остались, на лице ни кровинки.

— А сам он что говорил тебе?

— Говорил — не твое дело, не вмешивайся. А как мне не вмешиваться? Воду в поте лица из ущелья таскаем, а они ее разливают знай... — Она загнула палец. — Уста к их приезду овцу забил, они есть не стали, мол, ящур у нее. Уста пошел, — заставили дурака, — купил другую овцу за тридцать рублей... — она загнула второй палец. — Обед сварят, так половину собаке выливают.

Пальцы ее загибались, загибались и — сложились в кулак. В мужской кулак. Мать умолкла. С нами поравнялась женщина, — ехала она верхом, — придержала лошадь, собираясь заговорить. Но матушка Вардуш неожиданно вспыхнула:

— Езжай, езжай... Не до тебя мне, сплетница паршивая...

Женщина что-то буркнула под нос, хлестнула лошадь и усккала.

— Ну, что еще?

— А то, что ребенка моего увезли-таки, насильно увезли. Там машина стоит, сигналит, здесь мы стоим опешивши. А он мечется между нами, воет: «В кого это вы превратились, в кого превратились?!» Я ему: «Сынок, а как же матах?» А он мне в сердцах: «Провались ты со своим матахом! И в кого это вы все превратились?» Мать помолчала немного. — Нет, не хотел он от нас уезжать, не хотел, да шофер сигналил, не переставая. Они, видать, подговорили шофера...

Еще с вечера мать говорила: «Еще увидите, что за морока эта малина».

А нам, по правде говоря, не все ли равно?.. Лес этот не наш. Село не наше, малина тоже вро-

де чужая: приехали всего-то дня на два — гости! Я и жена подносили ко рту сложенные рупором ладони и окликали друг друга. Или же скатывались с бугорков, потом вскакивали на ноги и с удивлением разглядывали вековые замшелые деревья, слушали пение птиц.

Авету было наплевать и на деревья, и на птиц, и на нас. Он лишь время от времени озабоченно справлялся:

— Мама! Мама!.. Нашла малину?

— Не нашла, не нашла!.. — издали откликнулась мать. — Идите вглубь, вглубь!

Легко сказать «идите вглубь». Лес этот поднимался в гору почти отвесно, и перед тем как углубиться в него, я думал, что малинник — это сколько угодно малины: наполняй, знай, свою посудину, пока не устанешь. А здесь, даже если кое-где и попадались кусты, малины на них было что-то не видать.

— Мама, мама-а-а! Нашла малину?

— Не нашла-а, не нашла-а! Идите вглу-у-убь!

И мы шли «вглубь». Ноги уже не слушались нас, мы останавливались, переводили дух, но скоро снова выдыхались.

Я сорвал всего-навсего шесть ягодок. Жена — семь. Мы их сложили, разозлились и... съели.

— А раньше здесь была малина?

— Была. Автомобилисты всю слопали, — сказал Авет.

И снова мы потащились в гору, еле волоча отяжелевшие ноги. Мне хотелось закричать, да так, чтобы мой крик разнесся по всем горам и ущельям: «Да не ешьте вы этот проклятый компот! Как бы вкусен он ни был — не ешьте! Ведь каж-

дая ягодка малины полита десятью каплями пота, поймите!» И еще мне страшно хотелось отдубасить хоть одного из «приезжающих на машинах». Есть у вас улицы, залитые асфальтом? Есть автобусы, есть кино, театры? Есть у вас тысячи всяких других компотов? Так хоть малину не трогайте. Ведь косцу, наверное, было бы так приятно, вернувшись домой с работы, выпить чашку малинового компота. Ведь, видите, женщины и дети «идут вглубь», все вглубь, в гору...

У нас уже не было сил, и мы повернули назад. В лесу осталась только мать. Пришла она домой в полдень, вся взмокшая, встрепанная, исцарапанная. Мы были поражены, что ей удалось вернуться с малиной: с полкилограмма собрала.

Вечером мать и моя жена вылепили из пчелиного воска несколько свечек.

Мать сказала:

— Одну за Армена, одну за Айваза, одну за вас, а две — не скажу...

В свечках было что-то тоскливое, наводило тоску и жалобное блеяние запертых в хлеву ягнят.

Вокруг фонаря, горевшего на веранде, без усталости кружилась мошкара. В грядках фасоли шуршали и потрескивали высохшие стручки.

После долгого молчания жена моя, наконец, обратилась к матери:

— Сколько тебе лет?

— Сорок девять. А что?

— Дай я тебе прическу сделаю.

Мать удивилась, растерялась.

— Только этого не хватало.

— Такую прическу сделаю, что и уста тебя не узнает!

— Отстань, ради бога.

Но жена моя не отстала. Она настаивала и вдруг выяснилось, что мать согласна.

— Ты только резать не вздумай!

Я почувствовал, что матушка Вардуш стесняется меня и прошел в дом. Я стал ковыряться в неисправном приемнике. Заметил краешком глаза, подойдя к окну: матушка Вардуш смотрела в зеркало.

Пластинки конденсатора погнулись и прижались друг к дружке. Я пытался разъединить их острием ножа. Авет жадно следил за моими действиями, весь сиял. Когда острие ножа касалось пластинок, раздавался приятный звон. Наконец Авет спросил:

— А Америку тоже будет ловить?

— Будет.

— А Азию?

Так он перечислил все континенты.

— Наш кран... — вдруг донеслось с веранды.

— Не шевелись, — попросила жена.

Я выглянул в окно. Волосы матушки Вардуш были причесаны по последней моде и, глядя широко раскрытыми глазами в зеркало, она шептала: — Наш ту-ва-лет...

— погоди, подкрашу тебе губы, — слышался голос жены.

— Подкрашивай, подкрашивай... «На-аш ту-ва-лет»..

Авет, как замороженный, смотрел на мать.

— Подожди, я еще и новое платье надену! — воскликнула мать.

Немного погодя в соседней комнате раздался несмелый стук каблуков. Мать вышла на веранду, покачиваясь встала перед зеркалом, и мне показалось, что она уставилась на себя ненавидящим взглядом...

Налетевший ветер заиграл высохшими стручками фасоли.

В воротах появился отец — остановился, как вкопанный. Он поглядел, поглядел на мать, потом, спохватившись, проворчал:

— Не морочь голову! Я есть хочу.

Мать вздрогнула. Быстро обернувшись, посмотрела на мужа, попыталась улыбнуться, — губы искривились.

— Наш тувалет... — и голос ее сорвался.

— Говорю, не морочь голову! — нахмурившись, рывкнул уста, и я понял, что если бы нас здесь не было, он и похлеще сказал бы.

Жена моя стала разогревать обед. Мать, покачиваясь, прошла мимо мужа, вышла за ворота.

Ветер стучал стручками фасоли. Пес, чем-то встревоженный, глухо скулил.

Мать вернулась, когда уста поел и нехотя отвечал на какие-то мои вопросы.

Она шла босиком, туфли — в руке, волосы встрепаны, ладонь вымазана губной помадой. Потупившись, она скользнула в соседнюю комнату и вскоре вышла — переодетая, с заплаканными глазами.

— Чего расселся? — крикнула она мужу. — Ступай, остриги овцу, не пропадать же шерсти! — Потом повернулась к нам: — Ну-ка, спать! Завтра день матаха.

Утром мы встали спозаранок. Солнце еще не всходило. Авет в новой рубаше, привезенной братом, включил радиоприемник, который загорланил на все село какой-то марш. Уста прилаживал веревку к рогам ягненка, а ягненок не давался, мотал головой. После стрижки он выглядел совсем крохотным.

Мать остановила мою жену:

— А ну — назад! Надевай самое нарядное.

Наша процессия двинулась по дороге, огибавшей село. Ягненок упирался, отставал, ковыляя на больных ножках, подскакивая от боли, уста тянул его за веревку. Не поднимая головы, натужно, мать и моя жена шли со свечками в руках. Несколько раз нас останавливали.

— За внука матах?

— Ага.

— Айваз не вернулся?

Уста отвечал:

— Какая разница? Товарища прислал. А это жена его...

Из холодной тишины утра до нас доносились звуки марша. «Зоравором» назывался каменный крест, установленный на скале.

И с вершины в ущелье, одинокий,
как перст,

Человеком безмолвным смотрит каменный
крест...*

Ягненка зарезали на рассвете. Да будет угоден богу этот матах...

* Из Ов. Туманяна.

ЖЕНЩИНЫ

В сорок втором, в июле, как всегда летом, солнце досия высушило воду, выплеснутую во двор после стирки, дети, галдя, затеяли шумные игры, семейство кошек, разморенное солнцем, распласталось на крыше Аникиного сарая, с соседней улицы врывалось громоыхание снующих взад-вперед трамваев. И все равно двор не был похож на двор прошлых лет. Он был пуст.

* * *

— Женщины, — сказала Зина, — бабоньки, пойдем выпьем...

— стыдно, — оправила подол Ахавни-майрик, — люди узнают, что скажут? Не мужчины же мы.

— А кто же мы еще? — на все парадное крикнула Зина. — Если мы не мужчины, то где наши мужики?

Вечерело. Веревка с бельем, протянутая от электрического столба до железной решетки на окне хромой Вардуш, делила двор на две части. Белье тихо покачивалось, детишки сосредоточенно копались в мусорном ящике, надеясь найти

какой-нибудь яркий осколок. Тень от тополя легла на парадное, только что политое и подметенное десятилетней дочкой Офик. Женщины сидели на скамейке в тени.

— А что? — повторила Зина, — если не мужчины мы, то кто же наших детей содержит, уж не Агавард ли?

— И-и-и! — скривила рябое лицо Сируш, — Агавард — дезер-ти-ир!

К июлю сорок второго во дворе из мужчин оставался один Агавард. Это был худой человек с землистым лицом и сутулой спиной. Хворал он, должно быть, семьюдесятью болезнями, не меньше, а то, что он дома, хотел оправдать семьдесят первой, вряд ли существовавшей. Дома Агавард передвигался шустро, проворно, но стоило ему выйти на улицу, как его спина становилась еще более сутулой, он едва волочил ноги. По улице Агавард ходил не иначе, как с палкой.

— Чтоб тебе провалиться, вы только на клюку его полюбуйтесь! — непременно напутствовал его кто-нибудь из соседей.

И все же Агавард не был дезертиром. Он помогал армии: шил военное обмундирование. Днем. Но по вечерам, до глубокой ночи, стрекотала его машинка для черного рынка, и стук ее рождал тысячу дум в бессонных головах женщин, оставшихся без мужей. Стук машинки означал хлеб, мыло, керосин, удовлетворенное желание Сатик, безразличие к приходу почтальона, равнодушие к письмам, которые он нес, и еще многое другое означал этот стук, все то, что лишало женщин покоя, уносило их сон.

— Дезертир! — повторила Сируш.

— Стыдно, услышат, — понизив голос, коснулась ее руки Ахавни-майрик.

— А я и хочу, чтоб услышали!

Сатик, еще не успев выйти из комнаты, громко заверещала. Машинка умолкла. Агавард, очевидно, пытался уговорить жену, не давая ей выйти. Но она, вырвавшись, распахнула дверь и, чуть не плача, выкрикнула:

— Надоело, хватит! Агавард вам, что, заноза в глазу? Кому не в мочь, пусть берет себе!

— Ишь чего захотела! — ответила Офик, держа младенца у вымазанной чернилами груди. — Чтобы тебе пусто было, тоже нашла чем хвалиться!

Агавард высунулся в проем двери, поглядел поверх очков:

— Брось, Сатик, не вяжись, не видишь, на сердце у них тошно...

В двухэтажном доме с единственным парадным теснилось восемь жилищ, вклинившихся одно в другое. Шум каждого из них отдавался в остальных, запах чьего-нибудь обеда заполнял все парадное.

Одно из жилищ умолкло в первые же дни войны. Азат был холост, он запер двери и ушел, оставив ключ у Ахавни-майрик. Из оставшихся семи каждое, казалось, делало вдох само по себе, но выдох у всех был общий, негодующий, в сторону дверей Агаварда. Особенно по вечерам, когда женщины, обессиленные заботами, выходили во двор и усаживались на скамью возле парадного.

Правда, Сатик однажды раздобыла где-то масляную краску и велела сыну Булику измазать

ночью скамью, но женщины не растерялись: каждая притащила с собою стул, и снова сидели они рядышком, да еще издевались:

— Вот так молодец, Булик, молодец, в отца пошел: по ночам украдкой трудишься!..

И семейство Агаварда ждало наступления морозов как благодати.

— Как же так, — все не могла уняться Сатик, — когда мужья ваши при вас были, вы меня на смех поднимали, мол, немощен твой муж, как, мол, ты его терпишь, а нынче он вам мужиком показался. Чтоб вам глаза его иголкой проткнуло, бесстыжие!

— Оставь, Сатик, тошно ведь им, ступай домой...

С балкона соседнего дома уже свешивалась голова старичка-репатрианта. Задевая за связки красного перца, вывешенные на столбах, он старательно прикладывал к уху ладонь. Перебранка женщин была делом не новым, привычным, но все равно, не разобравшись, кто кому что сказал, — старичок ни за что бы не позволил себе увещевать спорящих сиплым, одному ему слышным голоском.

— Да не гомоните вы так, говорите медленнее, дайте людям вникнуть! — вроде бы восклицал старичок. — Ну и трещотки!

— А всему ты сам виной! — огрызнулась на мужа Сатик, — позволяешь всякой собаке на нас брехать.

— Сатик! — рявкнула Зина, — а ну заткнись, да убирайся восвояси, не то как встану, да как возьмусь за тебя!.. И муженька твоего не оставлю!

— Да обед свой с балкона убирай, — поддала Аник, — нечего сидеть над ним, выставляться! Нашим детям тоже мяса хочется!

Детишки, бросив копаться в мусоре, сгрудились неподалеку от матерей и враждебно молча поглядывали то на Сатик, то на ее сыновей, съевшихся в тени балкона хромою Вардуш.

— Бессовестная, да разве в такую жару разведешь в доме огонь? А не посиди я над обедом, вы же мигом мясо растащите!

— Сама и есть воровка! — Сируш указала пальцем на двери Сатик, — дезертира укрываешь!

Дочка Сируш, девочка лет восьми-девяти, отбросив мелок, которым рисовала, сняла с ноги ботинок и набросилась на Булика.

— Дезертирский сын, дезертирский сын! — приговаривала она, ударяя ботинком мальчика.

Детишки окружили Булика, не давая ему ударить, а тот, хоть был старше и сильнее дочери Сируш, молча сносил удары и лишь, залившись румянцем, скрежетал зубами. Потом он не выдержал, оттолкнул девочку, кинулся к своему окну и закричал что было сил:

— Пошел бы и ты в армию, хватит!

— Это они не по злобе, — подал голос Агавард, — тошно ведь им.

— Нет, вы на мужика моего полюбуйтесь! — завопила Сатик и врезалась в толпу детей. Те, крича и дразнясь, разбежались.

Сатик, схватив сына за шиворот, вlepила ему оплеуху.

— Поделом тебе! Ты их всех сильнее, вмазал

бы, чтоб подошли! Пусть еще кто до моих дотронется — убью!

Сируш хотела было ответить. Она встала, шлепнула себя пониже спины, но завидев, что Сатик ретировалась раньше сына, от речей воздержалась.

— Вот и славно! — воскликнул старичок из соседнего дома, — что вам делить друг с другом!

Во дворе как будто бы воцарился покой.

Сумерки, карабкаясь вверх по стене, залили Аникин сарай. Старичок-репатриант задернул шторку на своем окне, воробьи стайкой вспорхнули на ветви тополя, пошумели, почирикали и, испуганные дребезжащим трамваем, улепетнули в сторону мельничного комбината.

— У кого найдется кусок соли? Одолжите, получу свою — отдам. — Было слышно, как Сируш хрустнула пальцами.

— В трамваях задние дверцы открыты, — вздохнула Аник, — раненых перевозить будут, не иначе.

— Сиденья убрали, садиться некуда...

Вардуш вытянула, распрямила хромую ногу с приложенным к ней железным протезом. Железо блеснуло под светом луны.

— Мир миром, а ты со своим сиденьем, — усмехнулась Офик, вкладывая вымазанную чернилами грудь в рот младенцу.

— Грудь загадила, а все равно ребенку суешь. — Ахавни-майрик протяжно зевнула, перекрестила рот.

— Что поделаешь, кормить-то нечем, а молока много... Еще отцеживаю, да старшим даю. Молоко оно и есть молоко, какая разница?

— Да погодите вы, — проговорила Зина, обхватив руками голову, — видела я их сегодня ночью, на вокзале... везут их да везут...

— Раненых?

— Ага... Подошла поглядеть, нет ли Гургена среди них... На одного взглянула, на другого, да как побегу оттуда!

Луч прожектора с крыши комбината прорезал синеву ночи, обвел небо и пропал.

— Русские были или армяне?

— Каких только там не было!

— Ай, ай, ай! — закачалась Ахавни-майрик, — горе матерям вашим!

— Лишь бы вернулся мой Вираб, пусть даже ранят его куда-нибудь...

От Вираба не было вестей вот уже пять месяцев.

— Я к гадалке ходила, — продолжала Офик, — поглядела она на зерна ячменные, говорит: «Муж твой чернявый, пригожий парень». И как узнала?

— Слыхала? — двинула соседку локтем Сируш, — это Вираб-то пригожий?

— Говорит: «Пусть сердце твое не печалится, через семь дней ли, семь недель, семь месяцев ли — получишь от него весть...»

— Пусть мой Сандро вернется, — откликнулась Аник с края скамьи, — а там пусть хоть пальцев не будет у него на левой руке.

— И у моего тоже, — поддакнула хромая Вардуш, — лишь бы вернулся.

— Пусть Рубик мой вернется, — проговорила со вздохом Ахавни-майрик, — а ранен будет

хоть сюда. — Она трясущейся правой рукой коснулась локтя левой.

— Хоть на руке не будет пальцев, хоть на ноге, лишь бы воротился мой Галуст, — торопливо сказала Сируш.

— Да, — поддержала ее Офик, — уж своего-то я прокормлю!

— Да уж коли вернутся, как-нибудь и сами нас прокормят.

— Гурген мой! — вдруг заголосила Зина. — Пусть ни волоска не потеряет мой Гурген! — Она разрыдалась. — Да разве на такой войне отделаешься пальцем руки или ноги?! Хоть без руки, хоть без ноги, лишь бы вернулся мой Гурген!

— Ты ровно дитя малое, Зина...

— А кто же я еще? — Зина утерлась рукавом. — Пошли, бабоньки, винца выпьем. Вино нынче у меня есть, вино да лук...

Только сейчас соседки заметили, что Зина навеселе. Она работала проводником на поездах, ходивших между Ереваном и Баку и, конечно же, провозила безбилетников. А те вознаграждали ее — деньгами ли, хлебом ли, картофелем, луком...

На этот раз, видно, заплатили вином.

Женщины промолчали, и в наступившей тишине слышалось с соседнего двора:

В городе Керчи камни рушатся,

Пули по городу Керчи кружатся...

— Ашот, — позвала Аник, — принеси-ка тех жмыхов, пускай споет песню о Туле.

Это пела Лусо, слепая рыжеволосая женщина,

которую водил по дворам мальчик поводырь. Она пела песни, а мальчик с протянутой рукой обходил слушающих. К ним относились хорошо потому, что Лусо всегда приговаривала:

— Не давайте много, если трудно, вовсе не давайте. Один у нас дом, одна судьба. Город велик, сколько бы ни подали, мне хватит своих прокормить.

— А много вас, Лусо?

— Да нет, мать моя, четверо ребятишек брата да я.

— Муж твой в армии, Лусо?

— Кто такую замуж возьмет?

— А жена брата где, Лусо?

— Пропади она пропадом, детей в детдом подкинула, сама сбежала...

— А что же дальше?

— А ничего, я их взяла, и все.

Ашот вернулся, отгрызая на ходу от куска жмыхов.

Лусо запела:

Город далекий Тулой зовется...

— Хоть бы знать мне, где ты, и для тебя спела бы она, Вираб-джан, — пробормотала Офик.

Женщины всплакнули в темноте, каждая о своем, а когда Лусо ушла, остались только темень и опустошающая неизвестность.

— Бабоньки, — снова закричала Зина, — в городе Керчи камни рушатся, Гурген мой по городу Керчи кружится! Мы идем пить за здоровье наших мужей. Кто не выпьет вина — не любит своего мужа!

— Захмелеем, — сказала Аник, — стыдно... перед детьми стыдно...

Зина широко шагнула вперед, круто повернулась, подбоченилась:

— Сказано, кто не выпьет, мужа не любит! А коли не будем любить, разве вернутся они? Вас спрашиваю, вернутся они?

Сын Офик захныкал, но мать не обратила на это внимания. Не отрывая глаз от Зины, едва различимой в темноте, она медленно пошла вслед. За ней Аник, потом потянулись остальные, заторопившись, словно боясь опоздать.

Комната Зины была невелика, но казалась просторной, потому что в ней было почти пусто. На стенах виднелись следы раздавленных клопов, в углу висела одинокая иконка. Женщины говорили, что это русский бог, потому что Зина была русской.

— А где Гургена карточка? — удивленно огляделась Вардуш.

— Да я ее спрятала... — Зина вдруг вспылила, — не к лицу ему висеть на грязных стенах!

Женщины уселись на кровати. Зина рывком подтолкнула к ним стол и быстро расставила стаканы, вино в трехлитровке и несколько луков. Она не стала резать луковицы ножом, а по одной разбила их кулаком: «Мой Гурген всегда так делал».

— Твой Гурген хороший, — промолвила Ахавни-майрик, сложив руки на груди, — Рубика моего очень любил.

— А меня как любил... — Зина села на единственный стул, уперла в колени большие, как у мужчины, руки и усмехнулась. — В поезде-то

отбою нет. Болтают о том о сем, а я их мыслишки небось знаю...

— Ну, ясное дело, — неизвестно по какой причине оживилась Сируш.

— Спрашиваю, чего надо? И не стыдятся, говорят, чего надо... А я, знаете, что отвечаю? Я им отвечаю: да ты можешь разве, нешто ты мужик? А если мужик, то почему не на фронте? Вот как плюну, да как дам по шее!

— Ты не из робких, и впрямь по шее дашь...

Женщины засмеялись. Зина, ухмыляясь, покачала головой.

— Эх, ничего не осталось от Зины. Помните, бабоньки, какая я была?

Зина и вправду сильно отошала. Крепкие, стоявшие торчком груди опали, обмякли, лицо осунулось, заострилось, а от бывшей красы, сводившей с ума шоферов, остались только синие-синие глаза.

— Гурген, не дай господи, и не признает, — Зина, вздохнув, стала разливать вино по стаканам. — Гурген джан, за тебя. Пью, чтоб вернулся. Возвратись, снова стану прежней Зиной, не бойся. Что, не стану, что ли? — повысила она голос, словно ей возражали. — Стану и все!

Она опорожнила стакан.

— Пишет, если себя блюсти не будешь, берегись!

— Все так пишут. — вставила хромая Вардуш, — думают, нет у нас других печалей.

Женщины тоже выпили за возвращение Гургена. Они попросили соли и принялись есть лук. Было тихо. Тихо и душно — бумажное одеяло наглухо закрывало окно. Дочки Зины, потные

от жары, разметались в постели, обнажив немые, потрескавшиеся ноги.

— Вираб написал, что если продам его ножницы и машинку, худо будет. Выходит, надеется вернуться, правда?..

Женщины не ответили. Офик с надеждой смотрела то на одну, то на другую.

— Точно. Он и теперь, небось, где-нибудь свое парикмахерское дело делает, а уж никак не на фронте. Кому на фронте до волос да щетины?

— Вот и я говорю, — обрадовалась Офик, — но ведь писем не пишет...

Она вскочила, придерживая ребенка.

— Вираб-джан, твое здоровье. Где бы ни был, услышь меня, знай, у детей твоих есть кусок хлеба, зарабатываю я, на консервном заводе работаю.

— А ну пей, — сказала Зина, — пей, чтоб воротился!

— Пью. Вираб-джан, возвращайся. Хочешь, бей, хочешь, молоти, не стеклянная, стерплю. — Офик осушила свой стакан и, плача, добавила: — Он мне на вокзале сказал: «Пусть рука бы у меня отсохла, та, что так тебя колошматила...»

— Добрый парень был Вираб, — сказала Сируш, — но когда напивался, лютовал!

— Точно, лютовал, да только где он? Пусть бы возвращался, да лютовал, сколько душе угодно. — Офик потянула носом, взглянула на малыша, прикорнувшего у ее груди.

— Вылитый отец, словно из носу у того выскочил.

— Два годика ему сравнялось уже?

— В сентябре сравняется.

— Моего Мукуча ведь раньше Вираба забрали, верно? — припомнив что-то, встрепелась хромая Вардуш. — Так вот, когда забирали моего Мукуча, Вираб, уж не пойму, в шутку ли, всерьез, сказал ему: «Вот бы мне твой геморрой, Мукуч, я бы мир перевернул! И как это тебя облапошили!»

Женщины захохотали.

— Вот так тип этот Вираб, чтоб ему лиха не видать!

С улицы послышались свистки и крики. Женщины прислушались.

— Соблюдайте светомаскировку, соблюдайте светомаскировку! — кричали на улице.

— У нас все замаскировано.

— Владыка Муша, пресвятой Карапет, — забормотала Ахавни-маирик, — сбереги моего Рубика...

Она подошла к иконке, постояла перед ней, поглядела, потом, держась за стенку, опустилась на колени.

— Двух деток моих турки загубили, единственного кормильца турки загубили, а теперь Рубика отдать?.. Боже всемогущий, гнездо без подкладыша — не гнездо, дом без мужчины — не дом, мать без чада — не мать...

Рука ее тряслась больше обычного, вино выплескивалось из стакана.

— Если суждена беда моему Рубику, покарай сперва меня. Пусть не услышу я о его беде...

Она переложила стакан в левую руку, правой перекрестилась и, не вставая, выпила вино.

— Это же русский бог, разве он наш язык понимает?

Ахавни-майрик снова перекрестилась, шевеля губами и, не отрывая глаз от иконы, не вставая с пола, чуть отодвинулась.

— Погодите, я сейчас, — вскочила с места Аник.

Она выбежала из комнаты и тотчас вернулась, неся в руке фотографию Сандро.

Женщинам это пришлось по душе, все побежали за фотографиями, а Зина, нагнувшись, стала шарить в сундучке под кроватью.

Аник, наполнив до краев свой стакан, заговорила с карточкой мужа:

— Сандро-джан, как ты уехал, твоя Алисик слегла с гриппом.

— Как же это? — отозвалась из-под кровати Зина. — Не с гриппом она слегла, а с тифом!

— Замолчи! — вспыхнула Аник, — разве такое говорят?

Она заговорила о другом:

— Сандро-джан, всегда я наравне с тобой работала, по-братски тебя выручала. О нас не тужи, мы живы-здоровы, Ашотик твой на одни пятерки учится. Одна у нас забота — ты. Так и знай, коли что с тобой случится, не жить и мне, а детям быть круглыми сиротами...

— Не каркай, — оборвала ее Зина, — знай себе, пей, чтоб домой вернулся!

— Пью, чтоб ты домой вернулся, Сандро-джан, брат мой, муж мой!

Женщины возвращались, неся фотографии. Они молча рассаживались, уставившись каждая в свою карточку. Большая черная муха стукнулась о лампочку, жужжа, покружилась вокруг и

снова стукнулась. Где-то поблизости завывала бездомная собака.

— А нашей Арпик черная бумага пришла на мужа, — каким-то деревянным голосом сказала Аник и вдруг завывала, — не хо-чу-у!!

— Да что ты над живым человеком причитаешь?! — грохнула кулаком по столу Сируш.

Пустые стаканы зазвякали, повалились на бок.

— Наливайте, за здоровье Галуста пьем, — снова ударила по столу Сируш.

— Нет, — слегка покачиваясь, поднялась Вардуш, — нет! Задумала — выпьем за Мукуча!

— Да куда ты суешься?

— Прошу, ради Галуста твоего, задумала я...

— Коли задумала, так выкладывай, — недовольно буркнула Сируш.

— Не скажу. Пусть просто выпьют за здоровье Мукуча. Да, хромая, да неродящая — другой бы разве взял такую? Разве стал бы держать?

Женщины молчали, глядя на фотографии, каждая на свою.

Ахавни-майрик, приблизив фотографию сына к губам, шептала что-то.

Большая черная муха облетела комнату и села на волосы Офик.

— А в тюрьме моей темно!.. — протяжно запела Зина.

— Я за мужа пить буду, ты эту покойницкую песню брось, — сказала Сируш, наполняя свой стакан. — Галуст-джан, коли про нас хочешь знать, так мы в порядке. Сам-то ты как?

Фотография Галуста была совсем маленькая,

Сируш держала ее в горсти и, казалось, что она разговаривает со своей ладонью.

— А про детей хочешь знать, Галуст-джан, так и они в порядке. Я за ними смотрю не хуже других, а может, и получше... Ну и что же, что грузчиком работаю? — вдруг с обидой выкрикнула она. — кому какое дело? Зато дети в порядке... Жена твоя грузчик. Вот и пьют за тебя напоследок. Еще и хромая Вардуш вперед меня пролезла, чтоб ей неладно было... Не беда, Галуст-джан, будь спокоен, сила моя все та же, всех их я сильнее...

— Как бы не так, — проворчала Зина.

— Чего, чего?

— Нечего попусту хвастать, вот чего...

— Сама пустое мелешь! Хочешь померимся?

— Вались на место, да помалкивай...

У дворовых детишек повелось меряться силенками: «Кто победит, у того отец из армии вернется!» Женщины, глядя на эти состязания, крихтели и вскрикивали вместе с ребятами, подбадривали их, подзадоривали: «За глотку хватай, Левик, за глотку!» — кричала Сируш своему сыну, которого вечно все побеждали.

— А ну, давай поборемся, — Сируш настойчиво смотрела на Зину, — кто победит, у той муж из армии вернется...

— Да что ты заладила, словно дитя малое, — укорила ее Ахавни-майрик.

— А ну, — упрямо и вызывающе повторила Сируш, — кто победит, у той муж с фронта вернется!..

Женщины зашумели. Зина, не слушая их,

вскочила, как ужаленная, и встала перед Сируш. Они начали толкать и дергать друг друга. Это выглядело забавно, и женщины, отвлекшись от фотокарточек, стали смеяться.

Сируш норовила ухватить Зину за шею, та не давалась, отступала и отпихивалась.

— Зина, — кричала Вардуш, — ты не очень-то титьки ее трогай, Зина!

Сируш изловчилась, ухватила Зину за шею и, с силой пригнув ее голову, сжала Зине горло.

— Я тебе покажу, хохлацкое отродье!..

У Зины выкатились глаза, налились кровью, она силилась что-то ответить, ловила ртом воздух, но не могла издать ни звука.

Сируш повалила Зину на пол, тяжело придавила ее своим туловищем и прохрипела:

— Ну что, съела?

Потом поднялась, уселась на кровать и утерла пот подолом юбки. Зина еще лежала на полу. Аник хотела ей помочь, но Зина не далась, оттолкнула. Немного погодя она поднялась, держась за стену, раскачиваясь и не открывая глаз.

— Вот придет мой Галуст, в медалях вся грудь! — пропела Сируш.

— Гу-у-р-ген мой! — истошно завопила Зина.

Женщины обмерли. Будто Гургена вели на казнь, а Зине надо было его спасти.

— Не отд-а-а —м!.. А ну, выходи кто-нибудь!!

— Оставь, Зина, не надо.. устала же ты...

— Знать ничего не знаю, выходите, и все тут!! Кто не выйдет, мужа не увидит!

Ахавни-майрик тихонько поднялась и ушла. Остальные молчали, исподлобья поглядывая друг на друга.

— Давай, — Сируш пихнула локтем Аник, — ты не гляди, что она здоровенная...

— Выходи! — с мольбой сказала Зина, — ты что, не любишь своего Сандро? Выходи.

Аник оцепенело поднялась и, не сводя глаз с двери, двинулась не то к ней, не то в сторону Зины.

— Давай, давай, — снова подтолкнула ее Сируш, — да одолеешь ты ее, говорю!

Зина рванулась к Аник, облапила, оторвала от пола, бросила ее наземь, а сама уселась рядом, всхлипнула:

— Неужто тебя в обиду дам, Гурген-джан?!

С нижнего этажа послышался визгливый голос: Сатик посылала сына за водой. Порыв ветра колыхнул покрывало на окне и стих. С шумом захлопнулась дверь Ахавни-майрик. Аник стояла, прижавшись к стене, и затуманенными глазами глядела то на Офик, то на хромую Вардуш.

— Чего вылупились? — закричала Вардуш, — с тобой драться не собираюсь...

— Выходите, — выдавила Аник, — хоть кто-нибудь...

— Нет, нет, нет, — замотала головой Вардуш, — не пойду! Если Офик хочет, пусть идет сама.

— Нет, — сказала Офик, — я лучше с Вардуш померяюсь.

— Выходи кто-нибудь! — вытаращив глаза, закричала Аник. Вены на ее шее вздулись, словно вот-вот готовы были лопнуть.

Никто из женщин не шелохнулся.

— Вот и ладно, — сказала Сируш, — раз не

идут, считай, что обеих ты и одолела. Так даже лучше.

— Ага, — обрадовалась Вардуш, — считай, что нас обеих ты одолела!

— Нет, — рыдала Аник, — пусть хоть одна выйдет!..

— Не силком же их волочить, — обозлилась Сируш.

Она притянула к себе Аник, заставила ее сесть.

— Выходит, ты их победила, так ведь?

— Выходит, что так...—пробормотала Зина.

— А ну, — не унималась Аник, — пусть выйдет кто-нибудь!

Тем временем Офик уложила заснувшего ребенка на постель и встала перед Вардуш. Обе женщины щуплые, иссохшие. Но Вардуш, даром что была хромая, шустро завертелась вокруг Офик, дробно стуча прилаженной к ноге железкой.

Офик норовила взять ее за шею, но не смогла. Тогда она вцепилась в волосы Вардуш и рванула их. Вардуш завизжала и впилась зубами в ее руку.

— Не кусайся, — орала Сируш, — отпусти!

Но кто ее слушал? Не было больше добрососедства, не было многолетней дружбы, словно никогда Офик, уходя из дому, не оставляла своего грудного у хромой Вардуш...

Офик ткнула кулаком в лицо Вардуш. У той пошла носом кровь, но Вардуш не почувствовала. Она просунула свой протез между ногами Офик, уперлась, свалила соперницу на пол и принялась ее душить.

— В городе Керчи камни рушатся.. в городе

Керчи камни рушатся... — приговаривала она зло.

Их еле сумели разнять.

И опять в эту ночь до самого утра стрекотала машинка Агаварда, но ни одна из женщин не прислушивалась к ее стуку.

* * *

Поутру солнце снова принялось за лужи, детишки, схвативши палки, снова стали играть в войну, по улицам задребезжали трамваи, и все как будто оставалось по-прежнему.

Только у Офик почему-то пропало молоко, да Агаварду почтальон принес повестку. Агавард, забыв прихватить палку, вышел из дому и направился куда-то.

— Чтоб вам ослепнуть! — стоя посреди двора, кричала Сатик. — Этого вы добивались? Радуйтесь теперь!..

Она продолжала кричать, хоть ни одной из женщин не было видно на скамье у парадного.

— Булик, Рафик, отстегайте их щенков, чтобы знали!...

Булик и Рафик мрачно отсиживались под окном хромой Вардуш, подперев головы руками. Никто из детей не приближался к ним.

Вечером тень от тополя легла у входа в дом, старшая девочка Офик подмела, полила парадное, и женщины по одной собрались и молча уселись на скамейке. Они сидели, не говоря ни слова, сложивши на груди руки.

ДЕКАБРЬ

Керосиновая лампа горела неровно, пламя помигивало, от этого в комнате тени дрожали. Кто-то сказал, что керосин разбавляют водой. Стояла духота. Табачный дым, скопившийся под потолком, уже мало-помалу заволакивал печную трубу. В комнату набилось полно соседей. На нескольких стульях сидели по двое; толкались примостившиеся на тахте, на кроватях; по углам, прислонившись спиной к стене, кучились пожилые женщины и мужчины, молодые матери с малыми детьми на руках. Не нашедшие места в комнате теснились в коридоре, и когда кто-нибудь из них задавал вопрос, этот вопрос, прежде чем дойти до сидевшего за столом Айка, переходил от одного к другому, и ответ Айка передавался точно таким же манером. Все будто бы обрадовались, будто бы пришли с поздравлениями, но в действительности дело обстояло иначе: Аик был первым человеком, вернувшимся с фронта домой, от которого можно было хоть что-то узнать, услышать.

Окна были открыты настежь. Висевшие на решетках мальчишки, дрожа от холода, с любо-

пытством смотрели в комнату. Айк сидел, положив раненую руку на стол, а другой обняв задремавшего у него на коленях сына, и с озабоченным видом отвечал на вопросы соседей. Ованес, пристроившийся рядом, торопливо скручивал себе и Айку сигарки и старался установить для задававших вопросы очередь.

— Айк-джан, ты-то, верно, знаешь, где эта самая 1427-я полевая почта? — показывая треугольное письмо, спросила женщина в черном платке.

— Не знаю.

— Не знаешь, а усмехаешься. Почему?

— Если и знает, не скажет, — донеслось из коридора, — военная тайна.

— Тайна тайной и останется. Я же не собираюсь докладывать немцу, где мой Торос.

— Люди добрые, — вдруг раскинув руки, взмолилась Сапет, — человек только что с дороги, ему отдохнуть надо!

— Сестра Сапет, теперь он долго еще отдыхать будет... Значит, говоришь, Согомона моего не встречал?

— Нет, не встречал, — буркнул в ответ Айк.

— Если бы встретил, узнал бы?

— Узнал.

— Ой ли? Вот послал он мне карточку свою, смотрю и не верю, что это Согомон.

— Айк, а Айк, а что ты добровольно пошел воевать, принимают во внимание? — Сидевшая возле печки старушка вытянулась и с умильной улыбкой уставилась на Айка.

— Тут нечего принимать во внимание.

— Кто его знает... — помрачнев, пробормотала старушка.

— А сколько у кого детей дома осталось — принимают во внимание? — Женщина ударила дергавшего ее за волосы ребенка. Ребенок заплакал.

— Не принимают.

— Говоришь, что сил у нас хватает, — подал голос кузнец Асатур, — а немец за шесть месяцев вон сколько отмахал! Если и дальше так дела пойдут...

— То что? — неожиданно вскинулся Ованес. — Что тогда?

— Айк-джан, Айк, хочу спросить, только не обижайся... — Женщина подалась вперед, вышла на свет, и все увидели, что вопрос задает Норм. — Скажи, а в плен попасть легко?

В комнате наступила тишина. Мальчишки затолкались, попадали вниз, и под окном завязалась потасовка. Никто не заинтересовался суматохой, — все ждали, что скажет Айк.

— Стыдно мне за тебя, сестра! — встал с места Ованес. — Тысячу лет мы в плену прожили — с нас довольно. Правильно я говорю, люди?

— Правильно! — откликнулись со всех сторон. — Очень даже правильно!

— Хоть одного из них ты-то сам пристрелил?

— Это само собой.

— Ох-ох-ох! — наматывая нить на веретене, завздыхала старуха в черном платке.

— Не знаю, — пожал плечами Айк, — палишь себе из винтовки, а попадаешь в кого или нет, трудно сказать, ничего не видишь.

— Попадал, наверное, — сказал Ованес, —

пуля, она такая: то промахнется, то в самую точку угодит.

Пламя в лампе затрепетало, вытянулось, задымил. Ованес прикрутил фитиль. В комнате стало еще темнее, тени на стенах расползлись, смешались. Кто-то из стоявших в коридоре пошел и принес лампу, с лампой в руке пробился в комнату, поставил ее на стол. Это была Шамрик — соседская дочь. Айк улыбнулся ей, она отвела глаза и выскользнула из комнаты.

— Айк, а солдаты досыта едят или голодают?

Мальчишки всполошились, попрыгали наземь, потом за решеткой окна показалось лицо участкового.

— Почему свет не замаскировали? Что здесь происходит?

Кто-то ответил.

— Ого! — обрадовался участковый. — Где ты, друг мой, а ну покажись.

Айк встал. Под накинутой на плечи шинелью все увидели его раненую руку на перевязи. Он прошел к окну.

— Ранен? — спросил участковый.

— Ранен.

— Куда?

— В локоть.

— Пальцы двигаются?

— Немного двигаются.

— Рука сгибается?

— Нет.

— Ничего, пройдет.

— Посмотрим.

— Пойду проверю затемнение. После поговорим, — сказал участковый.

— Иди.

Лицо участкового исчезло, и послышался его голос:

— Поздравляю тебя, брат Ованес. Сегодня жги, имеешь право. Пускай весь город видит твой свет.

— Да будет свет и в твоём доме!.. — вскочив со стула, вскричал Ованес.

Мальчишки снова повисли на решетке.

— Айк, тетя Мариам интересуется — может ли фронтовик помогать своим домашним?

Мариам засмушалась, прикрыла платком рот, возразила:

— Врет она. Самой интересно.

— Нет, насчет помощи -- трудно... Зажги мне папиросу, — попросил Айк отца.

Ованес стальным бруском высек из кремня искру, зажег папиросу, протянул сыну.

— Ах, Гитлер, Гитлер, мать твою так! — покосившись на руку сына, вскипел отец. — Прости, господи...

— Милые мои, — опять взмолилась Сапет, — да ведь он, наверное, есть хочет. Воду второй раз разогреваю, чтоб искупать его, а дров-то нет...

Ноем вспомнила, что внук вот-вот вернется из школы, достала из кармана фартука моток ниток, сунула его под мышку и тихо-молча удалилась.

Коридор понемногу пустел.

— Наших много убивают, Айк?

— Убивают.

— А много?

Айк затянулся, уставился, морщась, в одну точку и наконец сказал:

— Убивают.

— А бомб у кого больше?

— У нас, — не раздумывая, ответил Айк.

— Тебя как ранило?

Все впились глазами в Айка. Сапет выставилась вперед, стала посреди комнаты. Никто не сказал Сапет, что она заслоняет Айка, и, чтобы видеть его, все наклонились — одни вправо, другие влево.

— Танк обстрелял дом, — полузакрыв глаза, проговорил Айк. — Дом рухнул на меня...

— Ах, чтоб я ослепла! — Сапет схватила за голову.

— Бревно придавило руку..

— Считай, тебе еще повезло.

— Бог смилостивился, — перекрестилась со слезами на глазах Сапет. — Петуха зарезу, свечку поставлю.

Манвел, припав к груди отца, сладко посапывая, спал. Ованес хотел уложить его в постель, — Айк не пустил. Он еще крепче обнял сына, зарылся носом в его вихры, понюхал. Женщины прослезились. В коридоре никого уже не было, не было и висевших на решетках мальчишек...

В ту ночь долго еще горел свет в доме Ованеса. И когда все соседи разошлись, Шамрик, засыпая, слышала шум плескавшейся за стеной воды. Она подумала, что это, верно, тетя Сапет начала купать Айка, и вдруг сердце ее сильно заколотилось...

В собесе Айк долго дожидался кассира, чтобы получить пенсию. Он успел уже раз десять прочитать висевшие на стенах плакаты и на тех же стенах здесь и там нацарапанные непристойности. А сейчас он сидел в просторной комнате напротив завитой, с накрашенными губами женщины, курил и от нечего делать разглядывал письменные столы. «Столов семь, а работает одна она». В углу стояла жестяная печка. Айк нагнулся, всмотрелся: дров в печке не было. «Бумагой топят. Сами исписывают ее, сами и жгут»... Женщина поднесла пальцы ко рту, подышала на них, отогрела и, макнув ручку в чернильницу, сказала:

— Зря ждешь.

— Что? — очнулся Айк.

— Я говорю — напрасно ждешь.

— Может придет? Который час?

— Скоро пять, — продолжая писать, сказала женщина. — Вряд ли придет. Сейчас у всех одно на уме — чем-нибудь разжиться к Новому году.

— А ты чего сидишь?

— У меня никого нет, — беспричинно улыбнулась женщина, и Айк заметил, что она косит.

Он еще с минуту посидел в нерешительности, потом вдруг вскочил и, не попрощавшись, ушел.

На улице было ветрено. Снег на тротуарах был затоптан, — черная грязная каша чавкала под ногами прохожих. Айк поднял воротник, побрел задумавшись, потом смешался с людским потоком и прибавил шагу.

На привокзальной площади было многолюдно. Чем только не торговали на этой площади — хлебными карточками и обувью, халвой и шинелями, продуктовыми карточками, сахарными пестушками, яблоками, желудями, спичками... Айк не сразу вошел в толчею. С зажатой в кулаке красной тридцатирублевой он прислонился к телеграфному столбу и закурил. Нет, не с пустыми руками вернется он домой. Айк перебрал в уме все соблазны этого рынка и, наконец, нашел, что лучше всего купить новогоднюю елку.

— Что продаешь?

Айк вздрогнул. Перед ним стоял краснощекий, низкорослый, осклабившийся человек, по виду — его одноклассник.

— А что покупаешь?.. Спекулируешь?

— Да какой я спекулянт? Вот продал мешок орехов — и домой собираюсь.

— Откуда ты?

— Из Ошакана*.

— Ошакан... Ошакан... — пробормотал Айк. — Знакомое название.

— Крест! Немецкий крест! Дешево отдам.

— Подожди, — сказал Айк ошаканцу и подождал владельца креста.

Подошел тринадцатилетний паренек с засунутыми в карманы брюк руками; он был худ, бледен, в стареньком пиджачке.

— Покажи-ка свой товар.

Паренек вытащил из кармана маленький железный крест. Это был немецкий орден. Айк удивился:

* Ошакан — название деревни в Армении.

— Где нашел?

— Солдат один продал.

— Сукин сын, — упрекнул Айк солдата, — разве это продают?

— Обыкновенная железка, — сказал ошаканец.

— Дяденька, — сказак паренек, — за сколько купил, за столько и продаю.

— За сколько купил?

— За двадцатку.

Айк сунул парнишке в руку деньги и хлопнул его по шее:

— На, — и катись.

— Ты так и не сказал, — опять осклабился ошаканец, — продаешь что или покупаешь?

Айк улыбнулся, подбросил на ладони свое приобретение и положил его в карман.

— Ничего не продаю.

— Зачем же сказал, чтоб я не уходил?

— Да, постой, — вдруг посерьезнел Айк, — купи шинель.

— Шинель не хочу.

— А что хочешь?

— Что? — Ошаканец оглядел Айка с ног до головы. — А в карманах ничего нет?

— Ничего.

— Сапоги продаешь? Покажи подметки.

Айк оперся рукой о столб и поднял одну, потом другую ногу. Ошаканец постучал пальцем по подошве.

— Ладно, покупаю.

«Январь, февраль, — подумал Айк, — в марте уже весна. В апреле ходить в сапогах не годится, ботинки нужны...»

— Сколько тебе дать? — Ошаканец сощурил один глаз, склонил голову набок.

— Сколько дашь?

— Чтобы не торговаться — семьсот.

Много это или мало — Айк не знал. Он думал: «Все равно продам. Продам, куплю по дешевке ботинки, а на остальные деньги куплю елку, продукты»...

— Да ты спятил, что ли? — схитрил Айк. — Знаешь, какие это сапоги?

— Сапоги как сапоги. Ты сколько просишь?

— Сколько прошу? Тысячу двести.

— Ну это уж слишком! — Ошаканец потер руки. — Но ничего, поладим.

— Не поладим, — отрубил Айк, — этими сапогами я фашистов топтал.

— Да ну!

— Вот те и ну!

— Покажи-ка еще раз подметки.

Подошли люди, полюбопытствовали, вмешались в торг — и, наконец, Айк и ошаканец поладили на тысяче рублей.

— Снимай, — отсчитывая тысячу рублей, сказал ошаканец.

— Как «снимай», — возразил Айк. — Сперва пойдем купим ботинки. Не босиком же домой возвращаться?

Айк купил себе пару изношенных ботинок, отдал сапоги ошаканцу, хотел уже уходить, — тот схватил его за руку:

— А ты вправду сапогами этими фашистов топтал?

— Топтал, — еще раз соврал Айк.

— Тогда на, возьми и эту сотенную, сыновья мои тоже на фронте.

— Сколько же тебе лет?

— Пятьдесят четыре.

— А я думал, сколько и мне.

— Перегибаешь... — втискивая сапоги в мешок, сказал ошаканец. — Не поминай лихом. Да будет Новый год добрым годом.

— Да будет, — пожелал и Айк.

* * *

Елка была разнаряжена. Свет от лампы падал на разноцветные игрушки, искрился на них. Бока печки накалились докрасна. Айк изредка смотрел на печную трубу. На стыках труба пропускала дым; он замазал их глиной, и сейчас глина сохла, трескалась, и опять из каких-то невидимых щелей начали выбиваться струйки дыма. Жена Айка, Ашхен, выглядела уставшей, — только что пришла с работы. Время от времени она терла виски, резко сдвигала брови: у них с Айком был спор из-за его сапог. Ованес, еще днем вставший с постели и одевшийся получше, сидел рядом с сыном, курил. На столе были две соленые рыбы, щавелевые щи, кусок халвы и буханка хлеба. Из коридора доносилась песня: сосед Вараз был выпивши и заставлял жену петь. Манвел, который уже съел одного из двух сахарных петушков, купленных отцом, а другого оставил на Новый год, не вытерпел — взял и впихнул его в рот.

— Да, — взглянув на часы, сказал Айк, —

сейчас мы выпьем за Новый год... Но что пить-то?

— Чудеса! — помотал головой Ованес.

— У нас уксус есть, — сказала Сапет, — разлейте в стопки и чокнитесь. Какая разница? Ведь уксус из того же вина.

— Уксус? — обрадовался Айк. — Что же ты раньше не сказала? Ну, неси, мать.

— Чаем поздравим друг друга, — с безучастным видом сказала Ашхен.

— Нет, уксус лучше. Неси, мать.

Ашхен вытерла и поставила на стол бокалы, Сапет отперла сундук, пошарила в нем, вытащила бутылку уксуса. Уксус разлили в бокалы. Айк оторвал клочок бумаги, помогая себе пальцами раненой руки, свернул сигарку, положил ее перед собой и, снова взглянув на часы, обратился к отцу:

— Говори, уже двенадцать.

Ованес взял бокал, подождал немного и, глубоко вздохнув, провозгласил:

— Что ж... пусть бог поможет нам выйти из этого испытания с честью. Слава господу, сын мой цел-невредим. Поздравляю...

Все встали, молча перечекались и сели. Один Айк остался стоять. Сахарный петушок Манвела хрустнул. Ашхен увидела, как задрожала челюсть и наполнились слезами глаза Айка. Потом Айк совладал с собой, откашлялся и сказал:

— За моего Арташа!

— Не пей, — вскрикнула Ашхен, — нельзя!

Айк медленно опустошил бокал, поставил со стуком на стол. Скрежеща зубами, зажег сигарку. Сапет посмотрела на сына и прослезилась.

На улице рывкнула собака: кто-то, видимо, ударил ее. Собака, повизгивая, кинулась в холодное безмолвие ночи. В коридоре хлопнула дверь, послышались шаги, и донесся голос Софик:

— Вараз, не ходи, ты пьян!..

Шаги приблизились, остановились, и Вараз открыл дверь.

— В мужские дела не суйся, — крикнул он жене и ввалился в комнату.

— Пришел поздравить с Новым годом!

— Хорошо сделал, — сказал Ованес, — садись.

Вараз подсел к Айку, оглядел стол.

— Вино, значит, пьете.

— Да, вино... — Ованес отвел руку от бокала. — Но чуть скисшее.

— Слетай скажи Софик — пусть водки даст, — сказал Вараз Манвелу. — Я только водку пью.

Манвел вопрошающе взглянул на отца.

— Сходи, — сказал отец.

— Пускай и лоби даст.

— Лоби не нужно... — Аик положил руку на плечо Вараза. — Рыба вот есть, все есть...

— Скажи, пусть полную бутылку нальет. — Вараз проводил Манвела взглядом, обернулся к Айку: — Как живется, сосед? Рука еще не сгибается? Что врачи говорят?

— Не знаю, — улыбнулся Аик, — то говорят — будет сгибаться, то говорят — не будет. Кончилась бы война, — а с рукой подождем...

— Да, да, — согласился Вараз и вынул из кармана пачку «Наргиле», — как бы ни кончилась, только бы скорее кончилась.

Слова «как бы ни кончилась» Айку не понравились. Он притворился, будто не видит протянутых ему папирос, скрутил новую сигарку.

— Возьми папиросу, — сказал Вараз.

— От этой на сердце не легчает, — заметил усмехаясь Ованес. — Вот выкурю свою, крепкую, может, чуть легче станет.

— Ты-то зачем на сердце жалуешься, дядя Ованес? Слава богу, сын твой вернулся...

— Да, слава богу, но сердце все равно болит, Вараз-джан.

Манвел с бутылкой водки и с тарелкой лоби в руках вошел в комнату.

— Э-эх, глупая баба! — взяв бутылку и тарелку, поморщился Вараз. — Лоби дала, а соленькое забыла. Пойди скажи пусть огурчиков даст.

— Иди! — обозлился Айк и исподлобья посмотрел на Вараза: — А больше у тебя ничего нет?

— У меня все есть. А что?

— Да так...

— Понимаешь ли, — разливая водку, сказал Вараз, — кто-то из соседей яму мне роет...

— Что случилось? — спросил Ованес.

— Донос на меня написали, воруя, мол я.

— Кто написал?

— Вот это меня и мучит... — Вараз поднял стопку. — С Новым годом!

Выпили. Сапет вышла в коридор, через несколько минут вернулась и, скрестив на груди руки, села на свой стул.

— Так вот... — после долгой паузы сказал Вараз. — Написали... Я же, сами знаете, никого

не беспокою, а в трудную минуту — и в помощи не откажу.

— Правда, — поддержала Сапет, — не отказываешь.

— Почему же написали, что я на руку нечист, вор то есть? Будто бы из мукомольни пшеницу краду.

Вараз, конечно, крал. Крали и другие — из тех, кто работал в мукомольне. Некоторые, не без ведома сторожей, выносили из склада по целому мешку зерна.

— Если подозреваешь и нас, — Айк схватил Вараза за руку, — клянусь моим Манвелом, мы тут ни при чем. Я твоего воровства не видел.

Вараз засопел, заерзал на стуле и на этот раз наполнил бокал до краев.

— Допустим, насыпаю в карманы немного зерна и приношу домой. Что тут плохого? Плохо, если я детей своих голодом не морю?

— Нет, пусть кушают, если есть что кушать, — вмешалась Сапет.

Вараз, ни на кого не глядя, выпил. Айк и Ованес чуть помедлили и тоже выпили. Ашхен посмотрела на мужа и по бегавшим в его глазах искоркам поняла, что он пьянеет.

— Например, вот этот табак, который вы курите... — Вараз ухмыльнулся, — разве не Ашхен с фабрики приносит?

— Да, без курева не остаемся, на день приносит.

— На день ли, на два ли, это меня не касается. Правда, сосед?

— Правда, — сказал Айк и тут же переменил

разговор: — А как это получилось, что тебя на фронт не отправили?

— А!.. Ты не верь, что я здоровый... легкие у меня слабые.

Вараз был худ и мал ростом. «Может, действительно слабые», — подумал Айк.

— Тебя вот отправили, а много ли ты выиграл? Покалечил себе руку и вернулся. Как ты теперь камни тесать будешь?

— Ох-ох! — вздохнула Сапет.

Айк был уже пьян. Вараз и Ованес что-то говорили ему, но он их не слушал, полузакрытыми глазами смотрел в одну точку, медленно выпускал из ноздрей дым. Ашхен дремала.

— Хоть бы словечко какое вымолвил, — заговорил сам с собой Айк, — так молча и умер.

— Кто?

— Арташ.

— Кто этот Арташ? — прохрипел Вараз.

— Э-эх, — растянул Ованес, покачивая головой. — Друг, брат Айка. Убили его.

Манвел быстро, жадно съел кусочек халвы, искоса взглянул на бабушку и, боязливо протянув руку, взял еще кусочек.

— Убили... — повторил Айк и вспомнил: — Мы сидели в окопе. Арташ и говорит: «Не откажи, спой-ка ту песню, кто знает, может в последний раз услышу..»

— В письме ты так и писал, — подтвердил Ованес.

Вараз снова налил бокалы. Айк взял свой бокал, поднес ко рту, но не выпил, неожиданно запел: «Ах, с любимой меня разлучили».

Пел он плохо, то и дело голос осекался, но

сидевшим за столом было безразлично — хорошо он пел или плохо: все смотрели на слезы Ай-ка, и сами тоже тихонько всхлипывали.

Вараз утер рукой глаза, запротестовал:

— Не томи, в новогоднюю ночь человек веселиться должен.

— Конечно, — шмыгнула носом Ашхен, — спой что-нибудь веселое.

— Плясовую давай, я плясать буду! — вскочил Вараз.

Айк оборвал свою песню. Играя желваками, поднес бокал к губам.

— Пьянеешь ты, — сказала Ашхен, — больше не пей.

— Пусть пьет, коли сердце хочет, — возразил Ованес.

— За здоровье всех моих товарищей. Где-то они сейчас? Кто жив? Кто убит?

Прибитые к потолку газеты зашуршали, из щелей посыпался песок. Это были мыши. Они пробежали, попискивая, и затихли.

— Ты почаще пиши своим товарищам, они тебе благодарны будут.

— Пишу — не отвечают.

— Не отвечают? — Вараз помолчал, затем, махнув рукой, проговорил: — Наверное, поубивали их...

— Эх, ты... Полеживаешь себе с женой в обнимку, а товарищей моих в землю зарываешь? — Айк выкатил глаза.

— Почему же не отвечают?

— Времени нет.

С улицы донеслись пронзительные переливы дудука, гул бубна, голоса. Манвел бросился к

окну, уткнулся носом в стекло. Наверное, это была свадьба: шумно, горланя, по улице двигалась большая толпа. Кто-то из них закричал: «Почему же стыдно? Может, поплачем, чтобы Гитлеру удовольствие сделать? Нет уж, попируем!» Голоса и музыка постепенно затихли. В комнате послышалось тиканье стенных часов. Манвел юркнул за занавеску и, не раздеваясь, лег в постель.

— Времени нет?... — нарушил молчание Вараз. — А не потому ли не пишут, что немец прет безостановочно и все на своем пути крошит?!

— Дальше что? — сдвинул брови и весь напрягся Айк.

— Дальше ничего, — улыбнулся Вараз. — Я ведь не ребенок, все понимаю...

— Что понимаешь?

— А то понимаю, что наше дело конченное.

— Как конченное? — взмахнув руками, вскричал Ованес. Он вскочил, пошарил в карманах, вытащил немецкий крест: — А это что? С их генерала сорвали!

— Откуда он у тебя, божий человек? — хохотнул Вараз. — Уж не ты ли его сорвал?

— Да, я сорвал.

— Кого вы обманываете? — не отступал Вараз. — По вашему, значит, мы их победим?

— Да, победим! — отрезал Айк. — Что еще скажешь? Выкладывай давай!

— Хватит вам, — сказала Ашхен. — Оставь его, Айк.

— Врешь! — взвизгнул Вараз. — Москву уже берут!

— Вру? — выдохнул Айк. — Вру, говоришь?..

— Здоровой рукой он взъерошил волосы. — Если вру, почему же тогда жена моя не побоялась забеременеть? Отвечай, подлюга! Ах ты, вор поганый!

— Бор — твоя жена, — табак ворует!

— Жена моя не ворует, а если ворует, — я кровь свою проливал! — выкрикнул он. Манвел вскочил с кровати и прижался к бабушке.

— Заткнись и не хорохорься, кляузник! — прошипел, вставая с места, Вараз. — Я не посмотрю, что рука у тебя такая.

Ованес засуетился, рванулся с тахты.

— На кого это ты наскакиваешь, разбойник? — Старик откинулся назад и ударил Варазу наотмашь по щеке.

Вараз хотел было схватить бутылку — не успел: зашатался от удара Айка.

В ту же минуту Ованес сзади схватил Варазу за руки:

— Бей его, Айк, бей этого сукина сына!.. Чтобы знал!.. Чтобы помнил!

Сапет и Ашхен метались по комнате, умоляли сына и отца опомниться, не бить человека. Но куда там!

— Вру? Вру, говоришь? — повторял Айк и бил Варазу.

Потом отец и сын выволокли Варазу в коридор, и сын пинком ноги открыл дверь его комнаты.

— Господи, что это? — соскочив с кровати, кинулась в темноте к дверям жена Варазы.

— Я избил его, — сказал Айк.

— Чтобы ты сдох, калека! — завизжала Софий. — Справился-таки с больным человеком...

Ты еще пожалеешь об этом!

— Цыц, шлюха! — отрезал Ованес.

Отец с сыном молча вернулись к себе, сели за стол. Ованес принялся крутить сигарку, — не смог: сильно тряслись руки.

На вопли Софик повыскочили в коридор соседи. Ованес рассыпал табак, остаток водки сцедил в бокал Айка, вздохнул с натугой и, схватив руку сына, потряс ее:

— Айк... сынок... скажи мне правду, заклинаю тебя Манвелом, победим или нет?

— Чего вы пристали ко мне? Чего вы хотите?.. — Айк изо всех сил ударил кулаком по столу, встал, дошел, натыкаясь на стулья, до своей кровати, растянулся на ней и затих.

СЫН КВАРТАЛА

С ранней весны до поздней осени жители одноэтажных глинобитных домов выходили после обеда во двор. Мужчины, в основном мастеровые, тут и там постукивали костяшками нарды или же, устраиваясь на низких скамейках, курили и мирно беседовали о досках на бочку, о политике Турции, о кизиловой водке, о романе «Самвел» и многом другом. Женщины же с какой-либо работой присаживались неподалеку, делились своими горестями и заботами, перешептывались с лукавой улыбкой в глазах, судачили, позабыв о присутствии мужчин, безудержно хохотали, но, спохватившись, тут же притихали. В центре двора с шумом и визгом носились детишки, затевая разные игры, бегали взапуски, падали, разбивая в кровь коленки и носы и, сдерживая плач, продолжали, прихрамывая, играть. Мигран из Полиса включал радиоприемник, его грохот наполнял весь двор, и вскоре тоскливый мугам тихо струился по двору. То ли мугам напоминал западным армянам о брошенном на чужбине родном очаге, то ли навевал воспоминания о далеком детстве или просто брал за душу

— «тише, вы!» — приструнивали они вошедших в азарт игроков в нарды и, склонив набок головы, уходили в себя, тосковали. Солнце постепенно багровело, повисая над двором, сверкал на крыше зеленый кувшин Еран, под тихим ветром плясали языки пламени разведенного у стены очага, выскальзывали из-под огромного медного котла, и в котле закипал, клокотал алый томат...

И вдруг наступало радостное оживление — во двор выходила полоумная Мариам. Все: и малыши и почтенные старцы, знали полоумную Мариам, с большими синими глазами, с детской улыбкой, разлитой по всему лицу, с длинными ногами и гибким станом, с тугими грудями, выступающими из-под тонкого ситцевого платья, с небрежно разбросанными по плечам черными роскошными волосами...

Красива была Мариам. Бросив игры и работу, прервав беседу на полуслове, ее окликали со всех сторон, подзывали к себе. Мариам выслушивала их, отворачивалась с ужимкой и, смеясь, отходила. Полоумная Мариам очень любила маленьких детей. Подходила не спеша к ребенку, опускалась перед ними на корточки.

— Чья ты, моя хорошая? — спрашивала она, осторожно касаясь пальцем подбородка ребенка, и отвечала за него тонким детским голоском: — Модницы Шогик! Ишь ты, на модницу Шогик поглядите-ка!

Двор хохотал. Шогик, раздираясь от смеха, подзывала Мариам и, когда все постепенно затихало, Мариам снова спрашивала:

— А папа твой кто?... Удод Воскан... — она искала взглядом отца ребенка, находила: — У-дод!..

Радостью квартала, его улыбкой была эта лишенная отца девушка. Позабыв о горестях и заботах, люди смеялись вместе с ней и, успокоившись, обретая покой... любили полоумную Мариам.

Началась война. мужчин забрали на фронт, но Мариам снова кружила по осиротевшему кварталу и своими наивными шалостями и выходками вызывала скупую улыбку на посуровевших лицах женщин, давно переставших улыбаться от горя и страданий.

— Завидую тебе, Мариам, ни ума, ни горя...

Женщины ошибались — у Мариам было свое горе, — завидев какого-нибудь военного, она бежала за ним, хватала за руку и спрашивала запыхавшись:

— Ты часом Тороса не видал?

Торос был единственным сыном ее соседей. Ареват и охотника Бабкена, — немногословный парень со спокойными глазами и русыми волосами, которого в первый же день войны взяли на фронт. Как ни терзали женщины свою память и воображение, никак не могли понять, почему Мариам из всех отправившихся на фронт мужчин спрашивала только о Торосе.

А военный, коли догадывался, с кем имеет дело, отвечал с улыбкой: «А как же, видел его, жив-здоров твой Торос», — и в этот день Мариам места не находила от радости, бегала с детьми, пела, плясала. «Видел Тороса», — объявляла она всем. А женщины квартала подтрунивали над матерью Тороса, мол, Мариам — невестка твоя.

Когда эти мальчишки, неугомонно носившиеся по двору, игравшие в прятки, успели бросить школу, стать мужчинами с черным пушком над губой, с пошлыми татуировками на теле, со своими уличными законами, безудержным желанием называться «вором»?

Пропадали группами, забивались в укромные уголки, самозабвенно хлопая по коленям, играли в кости на деньги, кружили на черном рынке, залезали в чужие карманы или же налетали на продавца, сбивали с ног и удирали с мангалом, на котором с шипением жарился шашлык из подозрительного мяса. А попадали в милицию — следствие да суд, вчерашний малец назывался обвиняемым и, безразличный к слезам и причитаниям матери, гордо выслушивал свой приговор.

Когда это они успели забыть своих отцов, которые как братья любили Мариам, когда они увидели в Мариам женщину, и сладостная дрожь пронзила их тело?..

В полдень, когда двор пустел, когда матери были на работе, они собирались группой возле устроившейся под стеной Мариам.

— Видели Тороса, — говорил один из них, бросая похотливый взгляд на ее грудь.

Мариам радостно кивала головой, а они не отводили жадных глаз от ее груди, глухо стонали и, хлопая друг друга по плечу и спине, дико ржали.

— Ты не голодная, Мариам?

Мариам энергично кивала головой и с надеждой смотрела на них.

— Ступай-ка принеси хлеба, — бросал сквозь зубы самый авторитетный из них.

О скольких головах был тот, чтобы не пойти, не стянуть из дому дневной паек хлеба?

— Ты ешь, а я положу голову вот сюда? Ладно? — И грязный черный палец касался груди Мариам.

Хлеб делили меж собой, по очереди давали Мариам и тихо млели, прислонив головы к ее груди.

Мариам жадно ела хлеб, обнимала рукой голову, медленно качалась. Она же знала их дети, может, ей казалось, что они все те же малыши.

Увидела это как-то одна из женщин, рассказала другим, весть шепотком из уст в уста закружила по всему кварталу и вдруг... Был душный, безветренный вечер, дым от каучукового завода медленно стлался над городом, трудно было дышать, то здесь, то там мигали первые огни.

— Прибери-ка свою дочку к рукам! — крикнула Сатик матери Мариам, Шушик. — Ребятам головы заморочила.

Во дворе на минуту воцарилась тишина. Только слышалось жалобное поскуливание черненького щенка. Женщины, будто сговорившись, встали и, готовые к драке, посмотрели на мать Мариам.

— А в чем она провинилась?

— Ей лучше знать, — повысила голос Сатик и, тыча пальцем в стоявшую рядом с матерью Мариам, обратилась к другим.

Поглядите-ка на ее щеки, люди добрые.

Ишь какой румянец нагуляла. А спрашивается, чей она хлеб жрет, шлюха?

— Что ты сделала? — спросила Шушик, схватив дочку за руку.

— Жрет наш хлеб, распутничает с нашими детьми, — неожиданно крикнула стоявшая у окна Агун. — Вот что она делает.

— Да потише ты, стыд-то какой...

— Портит наших детей — это не стыдно? Днями хлеба не видим — не стыдно?

Агун неловко выпрыгнула из окна своего одноэтажного дома во двор, скривилась от боли, потеряла ногу и закричала:

— Потаскуха!

Разъяренные женщины, видно, только этого и ждали — они кричали, перебивая и не слыша друг друга, постепенно приближаясь к Мариам и ее матери.

Мать, схватив дрожащую от страха дочь за руку, понялась назад и уперлась в стену, беспомощно застыв на месте. Двор был невелик. Все, что говорилось во дворе, было слышно в домах, громкое слово, произнесенное дома, слышалось во дворе. И кто сейчас в этот шум и гам мог остаться дома? Старики, дети — все высыпали во двор. Женщины визжа смыкали круг.

— Отрывает кусок хлеба у моих сирот...

— Прикинулась полоумной — хлеб наш жрет!

— Кровью и потом зарабатываю этот хлеб, — раздирая глотку, орала Агун. — Ночи не сплю!

Агун протянула руку, чтобы схватить Мариам за волосы, мать заслонила дочь, встала перед ней.

— Не трожь!

И вдруг раздался глухой вой, следом грянул выстрел.

Когда охваченные ужасом женщины пришли в себя, они увидели стоявшего во дворе отца Тороса. Двустольное охотничье ружье все еще дымилось в его руках, и дым кружился в полоске света, падавшего из окна Агун.

Бабкен побрел нетвердым шагом к женщинам, волоча за собой ружье. Женщины с визгом разбежались по сторонам и снова притихли. Бабкен не спеша подошел к Мариам, положил руку ей на плечо и сказал срывающимся голосом.

— Убью, ежели кто притронется к ее волоску, — и оглядел свинцовым взглядом женщин. — Убью!.. Сиротку увидали!

Его грудь тревожно вздымалась, воздух со свистом вырывался из легких.

— Бабкен, — окликнул его инвалид Саак. — Бабы же!

— Погоди. Вашим щенкам скажете — ежели кто хоть пальцем притронется к Мариам, кровь пролью!

— Совести у вас нет, — закрыв лицо руками, застонала мать Мариам. — Совести нет.

Никто ей не ответил. Женщины мрачно, со злобой глядели на Мариам и молчали.

* * *

Повестку на фронт первым из ребят двора получил сын Агун — Маис. Скольких ребят успел заразить игрой на деньги, увлечь воровством этот бросивший школу дошлый картежник. Он был несчастьем квартала, его злом и наказанием. Когда остриженный наголо он в задумчивости

остановился во дворе, все сразу поняли, что этот «треклятый Маис» был всего-навсего мальчишкой. Женщины квартала, забыв о своих проклятиях и его сварливой матери, даже прослезились.

— Погляди-ка на него, — показывая рукой на сына, со слезой в голосе крикнула Агун, — будто стриженный ягненок.

Маис исподлобья глянул на мать, промолчал, уселся под навесом сапожника Воскана. Ребятишки квартала молча пристроились рядом с ним. Они краем глаза смотрели на Маиса и молчали. Был летний полдень. На небе ветер то скучивал облака, то разгонял их, двор то темнел, то озарялся солнцем. Молоденький петух Сопо, которого она обещала принести в жертву, рылся в мусоре: он то тускнел, теряя все краски, то отливал золотом. Чуть поодаль, заглушая шум обмелевшего Гетара, мельница с грохотом поглощала зерно. В центре двора Сирарпи помешивала палкой кипящее белье в огромном котле, обмазанном глиной.

Дым очага разозлил Агун, она вытерла глаза и крикнула:

— Сердце кровью обливается, а ты тут еще напустила дыму. Хоть бы кто из вас пожалел — без отца ведь растила...

— Не ты одна, — проворчала Сирарпи.

— Помалкивай, не то сейчас этот котел на твою голову опрокину. — И Агун обратилась к остальным. — Хоть бы меня вместо него взяли на фронт. Ведь совсем еще дитя.

На их голоса Мариам высунулась из окна.

— На фронт идешь, Маис?

— Да, полоумная дура, — сказала Агун, — теперь посмотрим, чей хлеб жрать будешь.

— Заткнись, — прикрикнул на мать Маис.

— Ежели увидишь Тороса, Маис, скажешь, что я...

— Как же, увидит, — не обращая внимания на окрик сына, брссила Агун. Он хотела еще что-то сказать, но Маис встал и, сжав кулаки, заорал:

— Сказал ведь, замолчи, — и, сердито сверкнув черными глазами, вышел со двора.

— Ты куда? — крикнула вслед сыну Агун, — хоть бы сегодня посидел дома, бессовестный.

В этот вечер три души исчезли со двора — Мариам, Маис, да молоденький петух Сопо, которого она обещала принести в жертву святой богородице. В этот вечер сторож мельницы увидел на берегу Гетара под тополями трепещущий костер, стриженного парня и девушку с распущенными волосами, которые, сидя возле костра, не сводили глаз с дымящего котла.

Молния разорвала черноту ночи, выхватив на миг из мрака зенитную пушку над мельницей с часовым на вышке, стремительные верхушки тополей и стоящий неподалеку товарный вагон.

— Не бойся, — прошептал Маис, осторожно коснувшись рукой плеча Мариам. — Холодно тебе? — его голос дрожал. — Сейчас поедем курицу...

Мариам не отвела плеча, Маис прижался к нему, и голос его задрожал еще сильнее. — Завтра еду на фронт.

— Торос... — сказала Мариам.

Загремел гром, ветер подхватил, поднял в воздух разбросанные у костра перья.

Мариам... Я же завтра на фронт иду, дрогнул голос Маиса.

— Тебя могут убить?

— Могут...

— Как Седрака?

— Да...

— Жалко тебя, — Мариам погладила его по стриженной голове...

В этот вечер еще долго слышались во дворе проклятия Сопо вслед тому, кто украл ее петуха...

Позже, под навесом Воскана, сверкая в темноте глазами, Маис сообщил ребятам, что стал мужчиной.

— Как же она пришла?

— Сказал, пошли, курицу поедим.

— Под тополями?

— Ага.

— А как она согласилась?

— Сказал, утром мне на фронт.

Утром Маис ушел на фронт. Мать так и не поняла, кого искал во дворе мрачный взгляд сына. Затем пришли повестки Вардану, Роланду, Грише, Алеку из соседнего двора, Сергею, Геворгу, Завену. В темноте, под навесом Воскана, слышался возбужденный шепот ребят. Каждый раз рассказчику задавали один и тот же вопрос:

— Как же она пошла?

И тот же ответ:

— Сказал, утром мне на фронт.

Никто так и не узнал, кто из них врал, а кто говорил правду.

В ноябре жители квартала поняли, что Мариам беременна. Выпятив живот, она кружила по двору, изредка дурачилась, но чаще мучилась с немой болью в глазах: тяжело переносила беременность.

— Пусть ослепнет тот, кто причинил ей горе, — проклинала тетушка Агавни. — Чтоб не вернуться ему с фронта...

— Ой не говори так. Человек с умом отродясь не сделал бы такого.

— Пусть околеет тот, кто с умом сделал это, и тот, кто без ума, — не оставалась в долгу тетушка Агавни.

— Говорят, спросили ее, от кого, сказала — от Тороса...

— Чего? Чего? — фыркнула Сирарпи. — Как же, от Тороса! Торос-то когда на фронт пошел? Это дело ваших сопляков.

Воцарилось молчание. Под ступеньками взвизгнул закутанный в тряпки щенок.

— Мой ни в жизнь не сделал бы такого, — наконец нарушила молчание Сатик. — Что бы ни сказали — поверила бы, но этого — ни в жизнь. — Сказала и глянула на Агун.

— Чего уставилась-то?

— Не знаю... — усмехнулась Сатик. — А что, запрещается.

— Я тебя насквозь вижу. — Агун лениво зевнула. — Так знай же, мне наплевать на то, что ты думаешь.

Был холодный вечер. Женщины, зябко поеживаясь, стояли у подъезда, скрестив руки на гру-

ди. Чувствовалось, что никто не намерен затевать ссоры.

— Пусть ослепнут глаза ее матери, — сказала Сирарпи. — Не хватит полоумная дочь на шее сидит, а теперь еще ребенок?.. Как же она прокормит-то их?

— Ежели сердце твое так болит за нее, возьми ребенка себе, — сказала мать Роланда Шармах. — Одна, как сыч, в четырех стенах.

— Сколько это вас таких шибко умных у вашей матушки? Ваш внук, вы и растите...

Снова наступило тягостное молчание. Никто не откликнулся на слово «внук», все молча разошлись по домам.

* * *

В апреле сорок третьего года Мариам родила. Родила мальчика, назвала Торосом и скончалась на второй день от заражения крови. Шушик не привезла тело дочери домой. Сослуживцы из типографии, охотник Бабкен, Сирарпи и еще несколько соседей собрались в больничном дворе, молча, без музыки, зашагали за некрашенным гробом, похоронили Мариам и вернулись с кладбища. Темнело. В маленькой комнате мигало пламя свечи. Уложили Шушик на тахту, молча сели рядом. Во дворе было тихо. Даже дети забросили свои игры. Собравшись под навесом сапожника Воскана, они смотрели на окна второго этажа, перешептывались и снова замолкали. Ветер зашуршал листвой тополя, в маленькой комнате заплесало пламя вставленной в стакан све-

чи. Сирарпи встала, вышла на цыпочках, вернулась с небольшой миской, поставила ее на стол и тихо сказала:

— Обед подогрела. Поела бы немного.

— Сестрица Шушик, — откашлявшись, сказал охотник Бабкен. — Не дело это...

Шушик молчала, вперив взгляд в потолок.

— Целый день и звука не издавала, — сокрушенно добавила одна из сослуживиц. — Хоть бы поплакала — на душе полегчало бы.

— Сестрица Шушик, — тронул за плечо Шушик охотник Бабкен, — себя не жалеешь, хоть внука пожалей. Не дай бог, если с тобой что случится, кто же за ним смотреть станет?

— Да какой еще там внук, — бросила другая сослуживица, женщина лет сорока с накрашенными губами и с завитыми волосами. — Ей сейчас только грудного младенца не хватает...

Бабкен хмуро глянул на женщину и умолк.

— Хоть бы поела немного, — снова пробубнила Сирарпи, но никто не обратил внимания на ее слова.

Сослуживцы Шушик, видно, уже решили вопрос ребенка.

— Верно говорит Варсик, — вздохнув, бросила другая сослуживица, краем глаза глянув на Шушик. — Разве сейчас легко смотреть за ребенком? Как она его прокормит-то, да и чем?.. Да разве только это? Постирать, искупать, а бессонные ночи?.. Нет, — покачала она седой головой. — ума не приложу...

— Вот-вот, — оживилась женщина с накрашенными губами. — Скольких вот знаю. Родили, сами живы-здоровы, а дите отдали в детдом.

Думаете, у них не болело сердце?.. Время такое, ничего не поделаешь...

Охотник Бабкен свернул самокрутку, поднялся, прикурил от свечи. Мужчина с лысой головой, хромой на обе ноги, который молча кивал головой, соглашаясь с сослуживцами, глянул на него и не выдержал:

— Дай и мне закурить, братец...

— Я, конечно, не говорю, чтобы она отказалась от ребенка, — продолжила седая женщина. — Пусть отдаст в детдом, ребенок подрастет, дай бог, раздавят голову этой черной гадине, тогда захочет — возьмет, а нет — ребенок не останется без присмотра...

— Вот, к примеру, я, — прервала ее женщина с накрашенными губами. — Она же знает, я круглая сирота, потеряла родителей во время резни. Выросла в детдоме. Не пропала ведь?

Шушик молчала, отрешенно глядя в потолок.

— За ней самой нужен присмотр. — Седая женщина погладила по голове Шушик. — Кожа да кости.

— Вот-вот, — сказала Сирарпи. — Поди два дня и маковой росинки во рту не было. Хоть бы поела немного.

— При нас она не станет есть. Уйдем — поест. Сейчас самое главное — ребенок. Не сегодня-завтра этот вопрос надо решить.

— А чего решать-то, — вмешалась накрашенная. — Все решено. Другого выхода нет, надо отдать в детдом и никаких гвоздей.

Наступило молчание. Только слышалось, как тяжело дышит охотник Бабкен. Под ветром сно-

ва заплясало пламя свечи, казалось, вот-вот погаснет. На стене столкнулись тени, но пламя выпрямилось, свеча затрещала.

— А сами бы так сделали? — вдруг вскрикнула Шушик и, закрыв руками лицо, безудержно заплакала.

* * *

Маленького Тороса двор стал называть Торосиком. Это был веселый, приветливый ребенок, с белокурыми волосами. Стоило поманить его, и он тут же с веселым визгом, раскинув ручонки, бросался в объятия. Во дворе не было маленьких детей, стоило Торосику выйти во двор, его вырывали из рук, водили по домам и, несмотря на голод и лишения, совали то кусочек хлеба, то несколько изюминок и пшат, то кусочек сахара. Понимали ли они, что этот мальчонка с солнцем в глазах отогрел их, напомнил о позабытом тепле и как солнечный луч озарил их двор. Сердца женщин, истосковавшихся по своим ушедшим на фронт родным, томились и по младенцу: позабыв о невзгодах и горе, они тискали мальчонку и радовались, как дети. Каждое слово Торосика было для них, как первая весенняя почка, они будто впервые слышали лепет малыша. И только те женщины квартала, которые в глубине души думали, что они могли быть его бабушкой, сторонились Торосика. Может, они чувствовали себя виноватыми, а может, Шушик не обращала на них внимания? Они лишь издали глядели на Торосика и старались не говорить о нем.

В один из солнечных весенних дней во дворе раздался истошный вопль. Мать Маиса Агун с расширенными от ужаса глазами кинулась во двор и, царапая лицо, вырывая волосы, завывала. Соседки тут же сбежались на крик, окружили ее, и, поняв вдруг все, отошли и заплакали.

— Кто проклял тебя, Маис-джан, кто проклял? — царапая лицо, причитала мать.

— Умереть мне за твое могущество, господи, — прошептала стоявшая в окне тетушка Агавни и перекрестилась.

— Ведь две недели назад письмо получила... Писал, мам-джан, уже мало осталось!

Издали донесся сиплый гудок, возвещавший о перерыве на мельнице.

Маляр Айро, скрипя костылями, подошел к Агун, тронул за плечо.

— Ступай домой, Агун. Ступай.

— Не пойду, сердце разрывается. Сейчас сестры его вернутся из школы, что я им скажу? Что отвечу?

— А что ты можешь сказать, ослепли б твои глаза, — проворчал Айро и, в отчаянии махнув рукой, отошел скрипя костылями, облокотился о столб навеса Воскана и свернул махорку.

Был пожар или пожарник Цолак просигналил, как обычно, своей любовнице Нвард, — душе-раздирающий крик пожарной машины заглушил все голоса, и когда ее крик угас где-то около вокзала, тишину двора нарушил голос Агун:

— Писал он, мам-джан, я поумнел, я уже не тот Маис...

В этот день в квартале раздались еще два крика — своего погибшего на фронте сына Алека оплакивала дворничиха Пируз и из дома напротив — мать Роланда Шармах.

— Бои все разгораются, — выставляя палец, сказал маляр Айро скрючившемуся около керосиновой лампы охотнику Бабкену. — Три похоронки за день...

Гибель сыновей сблизила матерей. Раньше они едва здоровались друг с другом. А нынче, повязав черные платки, они собирались у порога одной из них и, крутя веретено или чиня одежду, мирно беседовали. Лица их были мрачные и серьезные, и, когда они рассказывали придуманные истории о своих сыновьях, охам и ахам не было конца, поэтому квартал назвал их «совами».

«Совы» имели общую тайну, которую тщательно скрывали от себя же самих: стоило Торосику появиться во дворе, как, прервав беседу на полуслове, каждая из них приглядывалась к нему, стараясь найти в нем сходство со своим сыном. И находила.

Первой не выдержала мать Роланда.

— Ох, бабы, этот малец больно на моего Роланда смахивает, — сказала она, посмотрела на Торосика, сидевшего на корточках под тополем, и улыбнулась ему со слезами на глазах.

Был тихий летний вечер. Младший сын Шармах, Ерджо, выпустил своих голубей и бегал по крыше взад и вперед, размахивая руками, не давая им сесть. В другое время мать обругала бы его, осыпала проклятиями, но сейчас не обратила на него внимания.

— На Роланда? — задумчиво бросила Агун.

помолчала и, не отрывая глаз от Торосика, сказала:

— Нет. Сколько времени все думаю и не говорю — вылитый Маис.

— Маис? Да ты что? Маис твой давно на фронте был, когда он родился.

— Как? — обозлилась Агун. — Маиса разве не в октябре забрали на фронт? Ну, а теперь считай...

Посчитали и решили, что Торосик мог быть и от Маиса.

— А я об чем, — торжествуя, бросила Агун, отложила в сторонку шитье, направилась к малышу, присела на корточки и ущипнула его за щечку.

— Гу-гу-гу...

Ребенок заревел.

— Чего ребенка обижаешь? — набросилась на нее Шармах. — Тебе до него дела нет.

С улицы донесся шум, ругательства. Мальчишки вспороли лезвием мешок, набитый скороспелыми яблоками, который старик нес на рынок, палетели с четырех сторон, подбирая рассыпанные на земле яблоки.

— Ежели по правде, ни тебе до него дела нет, ни ей, — хлопая красными глазами бросила Лу-со с соседнего двора. Она глянула на мальчишек, которые стремительно пронеслись по двору, крепко прижав к груди яблоки, и продолжила: — Перед тем как уехать на фронт, мой Баграт завел шуры-муры с этой Мариам.

— Это не пацаны Арпик? — спросила о мальчишках Шармах, но ей никто не ответил.

— Фи... — презрительно фыркнула сидевшая

на корточках Агун, — твой Баграт... Этот мозглявый-то! Соплей ведь перешибешь.

— Это твой был мозглявый! Лусо поднялась, готовая к драке.

— Вы на него так не глядите, в тихом болоте черти водятся...

— Почему знаю, — скрестила руки на груди мать Гамлета Ребекка. — Может, и от моего Гамлета.

— А ты чего языком мелешь? — неожиданно набросилась на нее Шармах. — Чего всюду нос суешь?

Бухгалтер мехзавода Левон, хромая, подошел к занавешенному и днем и ночью окну, прислушался к разговору женщин, отошел, отточил карандаш, подвинул поближе лампу и стал подделывать номер карточки. Он вошел в сделку с продавцами керосина и продавал им фальшивые карточки за полцены.

— А я что, лишенка? — обиделась Ребекка. — Или тебе мне рот затыкать?

Вскоре весть закружила по двору — «совы» чуть не растерзали друг друга из-за Торосика.

* * *

Бабка искупала Торосика, уложила спать, управились со всеми домашними делами и, не раздеваясь, только скрючилась на кровати в ожидании, пока затихнут голоса во дворе, чтобы вылить во двор помой, как в дверь постучали. Был поздний осенний вечер. Ветер шелестел листья-

ми глядевшего в окно тополя, и тень его то покачивалась на стене комнаты, то исчезала.

Шушик встала, подняла фитиль керосиновой лампы.

— Кто там?

— Это я, сестрица Шушик...

Нет, Шушик не узнала голоса. Она оцепенела на минуту, затем подошла, осторожно открыла дверь. В дверях, с маленьким пакетом в руках, стояла Агун и грустно улыбалась.

— Добрый вечер...

Шушик не ответила. Взяла помойное ведро, которое торжественно торчало в центре комнаты, сердито задвинула в угол. Соседка медленно прошла вперед, положила пакет на краешек стола и застыла.

— Чего пришла?

— Я вылью ведро, — прошептала Агун.

Шушик враждебно оглядела ее с ног до головы, взяла ведро, вышла. Агун огляделась. Она слышала, что Шушик продает свои вещи, но такого увидеть не ожидала: две кровати, стол, два стула, керосинка с кастрюлей. Она нагнулась и увидела под одной кроватью фанерный чемодан, а под другой — корыто.

Когда Шушик вошла в комнату, Агун стояла у изголовья Торосика и покачиваясь тихо плакала.

— Что надо? Зачем пришла? — сердито спросила Шушик.

Агун вздрогнула.

— Не знаю даже, как начать.

— Заучила бы дома свою речь, тогда и тащилась бы.

— Мой Маис... — подбородок Агун задрожал, она поднесла платок к глазам.

— Что Маис?

Агун не ответила. Всклипнула, протянув руку в сторону спящего ребенка.

В ночной тишине слышалось прерывистое дыхание Агун. На столе, монотонно гудя, горела керосиновая лампа.

— Цельный год не могу оторвать глаз от ребенка.

— Давай покороче.

Агун склонилась над ребенком; то ли хотела поцеловать его, то ли лучше разглядеть.

— Куколка ты моя.

— Не смей, — прошипела Шушик. Соседка выпрямилась, застыла. — Мало мне горя, теперь вот вы! — крикнула вдруг Шушик. — Пока беременная ходила, пока грудным был, всем вам начхать было... А теперь решили признать?..

Торосик проснулся от крика бабушки, сел, съежившись, в постели. Готовый зареветь, он испуганно глядел то на бабушку, то на Агун. Мотылек ударился о стекло лампы, упал, оставив на стекле золотистую пыль.

— Виновата я, — сказала Агун. — Давай поговорим спокойно, пойдем друг друга.

— А чего понимать-то? — снова крикнула Шушик. — Маиса твоего убили, потому притащилась... Ишь какая нашлась, уже вторая «сова» заявляется...

— Кто еще приходил? — разозлилась, покраснела Агун. — А другим-то какое дело?

Шушик не ответила. Она оттолкнула соседку, поправила на внучке одеяльце и тихо сказала:

— Никому до него дела нет. Убирайся-ка отсюда и скажи всем, кто еще раз осмелится появиться здесь, ноги переломаю.

* * *

Отблеск салюта в честь великой Победы постепенно угасал в памяти людей, радость и горе медленно отступали, уступая место повседневным заботам: кому суждено было вернуться с фронта — вернулся уже, а кто не вернулся — становился воспоминанием.

Двор жил своей обычной жизнью. По вечеру Петрос, как обычно, вышел из дома со свертком самодельных папирос, кивком поздоровался с соседями и зашагал к привокзальной площади. Шармах и Сопо повздорили друг с другом: обeim хотелось повесить белье на протянутой вдоль двора проволоке. Сапожник Воскан, позвякивая медалями, попробовал одной рукой подтянуться на турнике, не смог, заболтал в воздухе ногами и, спрыгнув, шлепнул тихонько по шее хихикавшего рядом мальчугана.

— Чего пасть разинул?

День постепенно угасал. В горах, наверное, шел дождь — во дворе слышался шум Гетара. Сидевшие неподалеку охотник Бабкен и маляр Айро, подтрунивая друг над другом, играли в нарды. В центре двора, запустив высоко воздушных змей, бегали дети, быстро разматывая ка-

тушки, стараясь поднять своего змея выше других.

У подъезда стояла дочь Шогик и, не переставая, дула в привезенную отцом флейту, раздражая Миграна из Полиса, припавшего ухом к приемнику, из которого лился тоскливый мугам.

Сапожник Воскан снова попытался повиснуть на турнике, когда заметил мужчину и женщину в военной форме, которые несмело вошли во двор. Они держали в руках рюкзаки.

— Кто это может быть? — сказал Воскан, и вдруг раздался крик Шармах:

— Да это же Торос, Торос!

Охотник Бабкен не сразу понял. Сына уже обступили соседи, обнимали и целовали, сын Левона успел сбежать к продовольственному магазину, чтобы поздравить мать Тороса, когда Бабкен вдруг все понял. Он с такой силой оттолкнул нарды, что костяшки посыпались на землю, и с криком бросился к сыну. На стоявшую неподалеку женщину в военной форме никто не обращал внимания. Весь двор всполошился: окликали друг друга, свешивались с окон, выбегали из дома, и Торос переходил из одних объятий в другие.

Когда затих первый взрыв радости, Бабкен снова оглядел сына.

— Куда ты запропастился, сынок? Извелись ожидаючи.

Торос не ответил ему. Отыскал в толпе женщину в военной форме и сказал:

— Моя жена.

Отец глянул на женщину с русыми волосами, выбившимися из-под пилотки, и протянул руки.

— Умереть мне за тебя и за твою жену, — он

подошел, шумно чмокнул невестку. Невестка, зардевшись от смущения, не поднимала глаз. — Что за день, господи, — воскликнул Бабкен. — Сразу два огонька зажглись в моем доме...

— Маиса моего убили, — схватила руку Тороса Агун. — Слышал?

— Торос привез с собой жену, — сообщали соседи друг другу.

— Откуда она родом?

— Почем знаю. Может, русская, может, французенка, а может, из самой Чехословакии. Он же в тех краях воевал.

— Домой зайдем, соседи, — крикнул Бабкен.

Уже стемнело. Запутавшийся в проводах змей вздрагивал от ветра, играя хвостом в снопе света, падавшего из окна Миграна. Шофер Сако с грохотом въехал на своем грузовике во двор, заглушив на минуту все голоса, отъехал в сторону, осветив фарами обступивших Тороса соседей и, ничего не поняв, спросил:

— Что это еще такое?

— Домой зайдем, — снова позвал Бабкен.

— Нет, — качнул головой Торос.

— Как это нет?

Торос открыл рюкзак, вытащил бутылку с водкой и алюминиевую кружку.

— Поклялся я, отец. Должен выпить во дворе, Маша моя сыграет, а я станцую.

Когда Шушик, держа внука за руку, ступила во двор, пир стоял горой. Соседи принесли из дома, что могли, разложили все на скамейке и, передавая друг другу стаканы, пили; жена Тороса усердно растягивала меха старой гармони, а в

центре Торос, Воскан, Аршак, Сако неумело отплясывали гопак.

— Торос вернулся, — объяснили Шушик.

Шушик, отпустив руку внука, бросилась к Торосу и обняла его, смеясь и плача.

— Торос-джан, сыночек, — повторяла она и целовала его.

И вдруг все вздрогнули от крика ребенка:

— Папочка! — Торосик обнял Тороса за ноги и снова жалобно позвал: — Папочка!

Гармонь замолкла. Постепенно затихли голоса во дворе. И только слышался шум Гетара.

ТОСКА

Машина мусорщика, как и всегда, приехала в тот же ранний утренний час, мусорщик забил в свой колокол, поднял во дворе переполох; на лестницах встретились женщины с ведрами — заспанные, нечесанные — вполголоса сказали друг другу «доброе утро», заторопились к машине, потом, помахивая пустыми ведрами, пошли обратно.

На дворе было еще темно. Неспешно, словно лентяй, падал на землю снег. Бродячая собака с поджатым хвостом, зябко дрожа, посматривала на ведра, с грохотом опрокидывающиеся в кузов машины, и тихонько поскуливала. Потом машина отъехала, и собака затрусила за ней.

Когда Анна с пустым ведром вернулась домой, Баграт в ночной пижаме, свесившись с кухонной тахты, на ощупь искал под ней шлепанцы. Один шлепанец он уже нашел и надел, второго не находил. Анна прошла вперед, поддела ногой шлепанец, валявшийся у двери, подтолкнула к мужу, поставила ведро на место и, еще поеживаясь от уличного холода, зажгла газ под чайником. Баграт зевнул, чесанул затылок, потянулся, хрустнув суставами, и, слегка пошатываясь, вошел в ванную.

Со двора соседнего здания снова донесся набат мусорщика.

Анна взяла с кухонной тахты постель Баграта, отнесла в комнату, кинула на свою неприбранную постель.

— Вставайте, — повернулась она к детям, спящим в кроватках с металлическими прутьями.

Дети и не шевельнулись. Анна включила свет, подошла к кроваткам, стянула с детей одеяла и шлепнула их по голым ягодицам. От прикосновения ее холодной руки сын подскочил, вцепился в край одеяла, снова натянул на себя и съежился под ним.

— Пусть сначала Нунэ встанет, потом я, — пробормотал он, не открывая глаз.

— Началось, — нахмурившись, вздохнула Анна и повысила голос: — Кому говорят, вставайте!

Шум воды в ванной оборвался, затем в дверях с полотенцем в руках появился Баграт.

— Козлятушки-ребятушки, вставайте!

— Это все ты их портишь, — проворчала Анна и, слегка оттолкнув мужа, прошла на кухню, принялась готовить завтрак. — По арифметике получили двойки, — нарезая сыр, сказала она, — эти твои козлятушки... Сто раз говорила: унеси эту дрянь, не надо мне...

«Эта дрянь» — был телевизор, который Баграт недавно купил специально для Анны. Не предупредив, ни слова ей не сказав, он притащил телевизор домой и, шатаясь под его тяжестью, улыбнулся Анне.

— Что ты наделал?! — растерялась Анна. —

Теперь их разве усадишь за уроки? О чем ты думал?

— Пусть только попробуют, — глянул отец на визжащих от восторга детей. — Тебе же надо чем-то развлечься...

— ... Вот теперь попробуй — оторви! Сидят как приклеенные, — продолжила из кухни Анна, сняла с плиты кипящий чайник и, прислушиваясь к радостному визгу из комнаты, позвала: — Баграт, да хватит же, Баграт!..

Она и не глядя знала, что Баграт повалил детей на кровать сына, и все трое визжат и кричат от восторга и радости. Игра была все та же: дети — козлятушки, а отец — волк. Баграт рычал, кусал — кого за щеку, кого за ногу, а дети, задыхаясь от смеха, тянули отца за уши, за нос, наскакивали на него, душили. И если б не Анна, кто знает, как долго длились бы эти самозабвенные мгновения утоления тоски?.. Конечно, Анна понимала, что они тоскуют друг по другу. Но ведь детям надо еще одеться, умыться, позавтракать и потом в школу...

С напускным гневом на лице она вошла в комнату и увидела, что муж лежит на полу, а дети сидят на его спине.

— Баграт, Баграт... — укоризненно сказала она. — Нет, у меня не двое детей, у меня их трое. Я же вчера выстирала, выгладила, — вздохнула она, глядя на ночную пижаму мужа, вышла на кухню, включила радио.

Радио захрипело. Все знали, что когда сосед за стеной включает электробритву, радио начинает хрипеть, а это означает, что уже действительно поздно

— Да, поздно, — очнулся Баграт и поднялся. — Одевайтесь, — сказал он детям и начал одеваться.

Дети все еще были в игре, рычали и брыкались, нехотя натягивая одежду. Мать, озабоченно смотревшая на их щупленькие тельца, вдруг очнулась.

— Долго я буду ждать?

— Почему по арифметике двойки? — надевая туфли, спросил Баграт.

— Из-за задачки про бассейн, — сердито глянула на детей Анна. — Я и решила, и объяснила... Их к доске вызвали, а они как воды в рот набрали.

— Сколько раз говорил, не решай вместо них задач...

— Эх, — вздохнула Анна, — посидел бы ты с ними денек, тогда бы я с тобой поговорила. — И что-то сердито бормоча, ушла на кухню, начала разливать по стаканам чай.

Пока муж и дети пили чай, Анна завернула в бумагу завтраки, сунула в портфели сына и дочери, положила сушившиеся на батарее башмаки у двери, вспомнила, что на пальто дочери оторвана пуговица, быстренько, не присаживаясь, пришила ее.

Спустя немного Баграт и дети вышли из дома.

* * *

Баграт и Анна знали друг друга давно. Годы назад они учились в одном и том же институте, на одном и том же курсе, в одной и той же груп-

пе. В то время высокая красивая Анна не замечала Баграта, у нее и в мыслях не было, что она свяжет свою жизнь с этим незаметным, тихим парнем. В то время и сердцем, и умом ее владел учившийся двумя курсами старше Ваграм — вечно улыбающийся, неумный гитарист, способный свести с ума любую девушку. Никто не понимал, зачем Ваграм пошел в политехнический. Ему бы певцом быть, киноартистом, а вот поди, когда хотел — учился, и даже на отлично.

В то время отец частенько корил Анну.

— Ну что ты нашла в этом шалопае? — говорил он и поглядывал на туфли дочери. — На таких плясунь не напасешься обуви! Дожить бы мне да поглядеть, как он будет семью содержать...

— Ничего, — успокаивала мать отца, — молодца еще, пусть дружит с кем хочет. Это-то и не забывается.

Мать говорила, улыбаясь печально, а Анна мысленно удивлялась ее наивности: а почему и после замужества нельзя дружить? Анна ясно представляла свою будущую жизнь с Ваграмом: сыграют свадьбу, поженятся, а друзей им, слава богу, не занимать — сегодня у одних соберутся, повеселятся, завтра — у других, и так всегда...

Но приехавшая из России голубоглазая красавица заарканила Ваграма и увезла с собой в Ленинград, а Баграт, сразу после защиты диплома, в институтском коридоре взял ее за руку и вот так сразу, ни с того ни с сего сказал:

— Люблю тебя...

— Как так?

— Да вот так.

Кому другому Анна, может, и не поверила бы,

но Баграт словами не бросался, и Анна чисто сердечно призналась ему:

— О тебе я никогда не думала.

— Думай, — сказал он, отпустил ее руку и ушел.

Потом серьезность и молчаливость Баграта, его задумчивый взгляд, его слова и поступки стали постепенно осмысляться в сознании Анны, и она даже удивилась: как до сих пор не замечала его?

Спустя год Ваграм вернулся из Ленинграда, снова позвонил, и уже по голосу Анна почувствовала, что Ваграм изменился.

— Прошу мне не звонить, — с трудом сдерживая волнение, сказала Анна. — У меня муж. А если попробуешь звонить... а если попробуешь звонить — скажу Баграту.

— Не позвоню. Будьте счастливы. — Ваграм помолчал, потом сказал: — Конечно, твой Баграт по масштабам его деревни, чемпион мира.

— А ты не изменился. Все тот же.

— Тот же? Тот самый?

— Да, тот самый.

— Где уж там...

— Ну что, уму-разуму поучили да назад отправили?

— Ничего, бывает.

— Самолюбия у тебя ни на грош! — крикнула Анна и бросила трубку.

Вечером, когда она рассказала об этом Баграту, он сказал:

— Зря обидела. Если еще позвонит, пригласи к нам.

Ваграм больше не звонил.

После окончания института Анна поработала недолго. Вместе с мужем они поступили в один и тот же НИИ, в один и тот же отдел.

Анна очень тяжело переносила беременность. Правда, руководитель делал вид, что не замечает многочасовую бездеятельность Анны, иногда отпускал ее с работы пораньше, но Баграт не хотел оставаться в долгу: уносил домой работу жены, чертил по ночам, утром сдавал руководителю.

Потом родились двойняшки. Обрадовались, наспех устроили пирушку, покутили... и растерялись: кто приглядит за малышами? Мать Анны едва успевала с другими внуками. Баграт надумал было привезти из деревни мать, но на кого оставить старика-отца? А если и отца привезти, как им всем уместиться в одной комнате? О яслях они и не думали: дети были слабые, болезненные, и единственный выход был в том, чтоб Анна оставила работу. Забирая трудовую книжку в отделе кадров, Анна, смущаясь, сказала:

-- Подрастут немного, вернусь на работу.

Но когда завертелась она по дому, как начались стирки-постирушки да каши-манки, а после детей в школу водить и из школы приводить и по вечерам уроки с ними готовить, и еще не забыть массу мелочей... когда эта домашняя круговерть до предела, до пресыщения заполняющая ее день, стала непреложным фактом, Анна мало-помалу примирилась с мыслью, что еще не скоро вернется на работу. Всю заботу о доме она взвалила на свои плечи, лишь бы Баграт поскорее защитил диссертацию. Она хорошо понимала, что с защитой диссертации многое изменится:

зарплата Баграта удвоится, реальнее станет возможность получить квартиру и вообще изменится очень многое. Теперь она была рада, что родила двойню, что не с каждым в отдельности готовить уроки, что для обоих она решает одни и те же задачки по арифметике.

Теперь Баграт приходил с работы, торопливо обедал, забирал свои бумаги и уходил в библиотеку, а вернувшись домой, на цыпочках, чтоб не разбудить жену и детей, проходил на кухню, съедал приготовленный для него и заботливо прикрытый бумажной салфеткой ужин, и ложился в постель, растеленную на кухонной тахте.

Теперь для Анны и Баграта самым лучшим из всех дней недели была суббота, когда дети уходили в школу, когда Баграт оставался дома, и они могли долго нежиться в постели. Но и сладкий дурман постели не был всемогущ, не дарил полного забытья, и в постели не забывались ни диссертация, ни домашние заботы и нужды, и все это медленно и незаметно стирало, притупляло желание близости... И все равно, для них обоих самым желанным из всех дней недели была суббота.

* * *

Проводив мужа и детей, Анна допила оставленный дочерью чай, с аппетитом позавтракала, убрала со стола, вымыла грязные стаканы и тарелки и поставила их сушиться.

Намечалась глажка: Анна уложила белье на кухонный стол, побрызгала водой, свернула в комки и пошла в спальню прибрать постели. По

радио передавали приятную музыку; Анна начала тихонько подпевать и, забыв о глажке, взялась за веник.

Снег прекратился. На мгновение даже солнце заиграло, луч пронзил окно. Анна открыла балконную дверь, там лежал снег, и Анна не пошла дальше, осталась стоять в дверях. Приятен был бодрящий морозный утренний воздух. Во дворе Арус собирала развешенное на ночь белье. Простыни задеревенели, смерзлись с веревкой; Арус подтягивалась, отдирала простыню от веревки, с хрустом ломала ее, укладывала в таз и, согрев руки дыханием, снова тянулась к веревке. Анна вспомнила, что муж Арус — заведующий магазином — всегда с неприкрытым вождением смотрит на нее — Анну. Еще издали завидев ее, останавливается, ощупывает взглядом с ног до головы.

— Ни в чем не нуждаешься? — спрашивает он с многозначительной улыбкой.

— Нет, спасибо.

— Ты помни: для соседа я и жизни своей не пожалею.

Анна, опустив глаза, проходит мимо, и еще долго ощущает на своем затылке, да и ниже, его липкий, оголяющий взгляд.

Зазвонил телефон. Анна встряхнулась, закрыла балконную дверь, с веником в руках подошла к телефону. Обычно в это время звонила мать.

— Это я, — сказал Баграт. — Что делаешь?

— А ты не знаешь?

— Меня вызвал Григорян.

— По квартирному вопросу?

— Да нет, совсем другое дело.

— Ну?

— Пригласил к себе домой. Сказал, что Новый год будем встречать вместе.

— А-а! — разочарованно протянула Анна.

— Вместе пойдем.

— Куда пойдем?

— К ним домой.

— А я тут причем?

— Да ты что? — выдохнул Баграт, и Анна почувствовала, что муж взволнован.

— Если тебе так хочется — иди, — нахмурилась Анна. — Хоть раз в году могли бы побыть все вместе...

— Да ты понимаешь или нет? Ведь вместе и пойдем.

— Легко говорить. А детей на кого оставим?

— Отведем к вашим.

— Нет, — отрезала Анна. — Ты-то иди, куда хочешь. А в такой день я детей одних не оставляю.

— Послушай, — смягчился Баграт, — я приду пораньше, вместе с детьми нарядим елку, весь вечер проведу с ними, часов в одиннадцать отведем их к вашим и...

— Не хочу.

— Пойдем и точка! — сказал Баграт и прервал разговор.

— Какой же ты!.. — потрясая трубкой, воскликнула Анна со слезами на глазах. — Ну какой ты!... — И всячески попрекая мужа, она пошла на кухню, достала из своего тайника в шкафу сигарету, закурила и села на тахту.

Никто не знал, что Анна курит. Правда, когда она встречалась с Ваграмом, он на вечеринках предлагал ей сигарету, сам подносил огонек,

сам вкладывал ей сигарету в губы и ждал, пока она незаметно поцелует его пальцы. Но это было попросту кокетничанье, девичьи шалости, подражание красавицам экрана. А приистрастилась Анна к курению гораздо позже, когда свыклась с одиночеством, когда, устав от хлопот по дому, опустошенная, усаживалась на минутку в своем любимом уголке на кухне и чувствовала, как давит на нее молчание стен.

Анна закурила, подумала о Григоряне — этом известном ученом с внушительным лицом и седыми волосами, который был односельчанином мужа, директором мужа и руководителем его диссертации. К Баграту он относился хорошо, просматривая проделанную работу, всегда похлопывал его по плечу и приговаривал: «Вроде бы все правильно. Но ты еще раз проверь, человек, не то и себя осрамишь, и меня, и всю нашу деревню...»

— Ну что мне делать у них дома?! — снова заспорила с мужем Анна. — Тебе надо — ну и иди!

Красная лампочка терморегулятора утюга то зажигалась, то гасла, но Анна этого не замечала. Какая-то ленная слабость окутала ее, и делать ей ничего не хотелось. «Вставай!» — мысленно приказывала она себе и оставалась сидеть. От маленькой церквушки, с четырех сторон зажатой новыми высотными зданиями, до Анны дошел перезвон колоколов: дин-дон, дин-дон... Анна встала, погасила сигарету и принялась за глажку, мысленно продолжая ссориться с мужем.

Платье дочери, сорочки мужа и сына... Она гладила старательно и бережно, укладывала в

стопку, снова бралась за утюг. Анна так была поглощена работой, что не услышала стука в дверь, и в дверь постучали снова. В дверях со стаканом в руках стояла соседка Седа.

— Мука кончилась. Дай немного...

Пока Анна возилась в шкафу, Седа прошла за ней на кухню и недовольно сказала:

— И кто придумал этот Новый год?

— Мужчины придумали. Женщины на это бы не пошли.

— Мучное приготовила? — спросила Седа.

— Вот собираюсь. Обещала детям гату.

— А когда успеешь?

— Не знаю. Глажку еще надо кончить, на рынок сходить, из школы привести...

— Да, — самодовольно сказала Седа, — а я свои дела почти закончила.

— Обед еще надо приготовить, — чуть покраснев от смущения, продолжила Анна. — А он все свое твердит.

— Кто?

— Баграт, кто еще...

— А что случилось?

— Говорит, вечером в гости пойдем.

— Куда?

— К его директору.

— А-а, — словно завидуя, улыбнулась Седа. — Ничего, успеешь.

— Скажем, успела. А детей на кого оставляю?

— Приведи к нам. С моими малышами порезвятся, Новый год встретят...

— Я никогда их одних не оставляла.

— Ничего страшного.. Ты волосы накрути Или в парикмахерскую пойдешь?

— Какая еще парикмахерская...

Седа с завистью оглядела густые черные волосы Анны.

— За детей будь спокойна.

— А останутся?

— С чего не остаться? А спать захотят — уложу. Ты волосы накрути.

— Нет, — сказала Анна, — не накручу. Если пойдем, сделаю прическу...

Анна подошла к зеркалу, распустила волосы, потряхнула головой и осмотрела себя.

— Да ты помолодела, девчонкой стала...

— А? — сказала Анна. — Ничего?

— Сзади надо чуть подправить. Хочешь, подрежу?

— Подрежь.

Соседка подложила под ее волосы полотенце, защелкала ножницами, словно заправский парикмахер, отступила на шаг, глянула, прищурившись, и снова щелкнула ножницами.

— К этой прическе пойдет платье с глубоким вырезом.

Анна открыла дверцу гардероба. Нарядов было немного: в основном платья времен девичества, со следами былой роскоши.

— Если хочешь, можешь выбрать что-нибудь у меня.

— Нет, — сказала Анна, достала голубое платье, чуть приподняла, повертела его и снова повесила на место.

— Разве мы женщины! — глубоко вздохнув, начала Седа, но Анна, поняв, что ее монолог будет не краток, тут же прервала ее:

— Что печешь?

— Торт. Наши гату не любят.

— Извини, — заставила себя улыбнуться Анна, — глажка..

Соседка взяла полный стакан муки и молча вышла.

* * *

Когда Баграт с деревянным крестом для елки вернулся домой, было уже темно.

— Ну-ка! — сняв пальто, весело крикнул он и высоко поднял свежеструганный крест.

Услышав голос отца, брат и сестра, сидящие в углу комнаты лицом к стене, заревели еще громче.

— Что это они? — войдя на кухню, спросил Баграт.

Анна не взглянула на мужа. Наклонилась, мокрой тряпкой подправила противень с гатой в духовке газовой плиты.

— Анна...

— Что тебе?! — выпрямившись, выдохнула жена, отошла, села на тахту с мокрой тряпкой в руках. Ее лоб был в мелких капельках пота, в пятнах муки, взгляд тупой, усталый. — Что вы хотите от меня? — спокойно и равнодушно сказала она.

Баграт вернулся в комнату, подошел к детям, и только сейчас заметил, что платье дочери разорвано от подola до талии.

— Хватит, — сказал он. — Сейчас будем наряжать елку.

— Не нужна нам елка, — всхлипывая, сказал сын. — Почему она нас побила?

— И очень хорошо сделала! — повернувшись к двери, нарочито громко сказал Баграт. — Очень хорошо сделала! — Он вышел на балкон, стряхнул осевший на елку снег, вернулся с елкой в комнату. — Куда ее поставим?

В комнате было тесно. Угол, где обычно ставили елку, теперь занимал телевизор. Баграт огляделся, поразмыслил и, наконец, решился.

— Подержи елку, — сказал он дочери.

Затем отец и сын подняли кровать, стоящую под стеной и, приставив ее к другой кровати, освободили место для елки. Сын все еще хныкал, и Баграт рассердился всерьез.

— Еще раз пикнешь — задам трепку! — сквозь зубы прошипел он, и мальчик затих. — Спусти со шкафа игрушки.

К десяти вечера елка была разукрашена. Разноцветные маленькие лампочки, гирляндами свисающие с веток, гасли и зажигались, то погружая комнату в мрак, то расцвечивая ее всеми цветами радуги. Баграт накрывал на стол. Он навалил туда гату, изюм, орехи, соленые огурцы, сыр, хлеб... Потом вспомнил, что дома есть выпивка, — поставил на стол две рюмки и принес початую бутылку водки.

Анна была в ванной. Баграт постучал в дверь.

— Я сейчас, — сказала она, — сейчас.

Баграт вернулся в комнату, сел рядом с детьми. Шла развлекательная программа, дети смеялись, повторяли понравившиеся шутки. Баграт тоже увлекся передачей и не заметил, как жена, с обвязанной полотенцем головой, вошла в комнату и, полуголая, встала перед зеркалом. Анна стянула с головы полотенце, расчесала волосы,

подсушила и вдруг в зеркале увидела сына, который с удивлением и любопытством смотрел на нее. Анна инстинктивно скрестила руки на груди и строго сказала:

— Мужчинам из комнаты выйти!

Сын отвел глаза и снова уставился в телевизор.

— Выдумашь тоже, — пробурчал Баграт.

— Мужчинам из комнаты выйти! Я должна одеться!

* * *

Гостей было немного: два старых приятеля Григоряна с женами, да Анна с Багра́том.

— Чтоб лучше понять и ощутить друг друга, — сразу же объяснил Григорян. — Когда людей много, человек и самого себя не слышит.

От его слов все были польщены.

Все потекло по установленному порядку. В двенадцать часов встали, чокнулись, поздравили друг друга с Новым годом, потом выпили за здоровье присутствующих супружеских пар, пожелали счастья и удачи, потом спокойно и неспешно вкусили всех яств со стола, и теперь сытая и сонная лень охватила застолье. Баграт, подсев к Григоряну, говорил с ним о своей диссертации, иногда чертил на бумажной салфетке какие-то кривые: приятели Григоряна, чуть отодвинувшись от стола, вполголоса говорили о болезнях печени и в связи с этим — о вреде курения; их жены, перебивая друг друга, делились воспоминаниями.

наниями о круизе вокруг Европы; хозяйка дома на кухне собирала к чайному столу.

Хотя Анне было скучно, одиночества она не чувствовала. От хорошего коньяка ее охватила какая-то приятная истома, и она то ловила краешком уха щебет дам, то, отключившись, поигрывала языком с застрявшей между зубами мясной нитью и обводила комнату медленным взглядом. Хрустальная люстра понравилась Анне, но она постыдилась долго ее разглядывать и перевела взгляд вниз, на пианино. Пианино она сравнила со старой девой: такой же терпеливой и ожидающей. Взглянув на огромные часы, стоящие у стены, Анна подумала, что через двадцать минут часы глухо пробьют три раза, и после третьего удара она встанет, поблагодарит хозяев, и Баграт, конечно, последует за ней. А когда вернутся домой, — забирать детей от соседки или не забирать?

Додумать ей помешал звонок в прихожей. Кто-то нажал на кнопку звонка и, по всей видимости, не намерен был отпускать палец. Разговоры за столом оборвались, и в тишине слышалась только упорная трель звонка.

— Сурен! — позвала из кухни хозяйка.

— Кого это несет? — проворчал Григорян, прошел в прихожую, открыл дверь, и в ту же секунду квартира наполнилась громкими молодыми голосами, смехом, музыкой, веселым шумом, среди которого выделялся густой мужской голос:

— Сурен-джан, душа моя!

Пока гости удивленно переглядывались, из прихожей доносились звуки поцелуев, топот ног,

многоголосый шум... Потом новоприбывшие ворвались в комнату. С ног до головы обваленные в снегу двадцатилетние парни и девушки, с пунцовыми от мороза щеками, с глазами, искрящимися вином и смехом. Ворвались и в одно мгновение изгнали тусклый покой, настоянный на ароматах кулинарии. Во главе этой оравы выступала невысокая девушка с хлопьями снега на волосах: она громко пела, в ритм песни хлопала в ладоши и в ритм хлопков пританцовывала. Некоторые вторили ей, остальные попросту бестолково шумели, а парень с гитарой декламировал какие-то стихи. Прочитал четверостишие, вынул изо рта товарища сигарету, затянулся, и снова начал декламировать.

Анна, поначалу изумленно взиравшая на них, не заметила, как улыбка с их лиц перекинулась на ее лицо, и она тоже заулыбалась тепло и безмятежно.

Из кухни донеслось рычание. В гостиную с хозяйкой на руках ввалился мужчина лет сорока, остановился в центре комнаты. Хозяйка визжала сквозь смех, дрыгала ногами, пытаясь вырваться из его объятий, а мужчина не отпускал ее, целовал, кружился с ней по комнате и снова целовал. Потом, когда он опустил хозяйку на пол и перевел дыхание, Анна заметила, что у мужчины красивые голубые глаза. От хмеля его глаза были слегка сощурены, и потому, наверное, улыбка его казалась чуть печальной.

— Замолчите! — подняв руку, повернулся мужчина к молодежи. — Да замолчите на ми-

нуту! — И когда ему показалось, что они замолчали, поклонился сидящим за столом:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте! — вслед за ним закричали ребята и снова загалдели, но из кухни пришел Григорян, постучал ножом по бутылке, утихомирил их.

— Разбойники, — улыбаясь сказал Григорян, — настоящие разбойники! — Он указал ножом на голубоглазого мужчину: — Это Хорен, родной брат моей жены! Как он сам говорит: испил воды из Куры! Помните и остерегайтесь — он атаман этих разбойников. Вот эти, — он указал на двух девушек, — мои домашние разбойники. А все остальные — друзья-разбойники моих домашних разбойников.

— Ура! — завопили разбойники. — Ура!..

То ли коньяк был тому причиной, то ли заразительность юношеского задора разбойников, то ли память молодости, прорвав многолетнюю плотину домашних тягот и забот, вырвалась на волю, — неожиданно и для себя самой Анна вместе со всеми закричала «ура!», захлопала в ладоши вместе со всеми и, взяв сумочку, пошла в ванную.

— Разбойники, — глядя на себя в зеркало, прошептала Анна, освежила помадой губы, попудрилась. — Разбойники, — повторила она, пригладила волосы и осталась довольна своим отражением.

Из гостиной доносились звуки магнитофона. Непонятная энергия, вселившаяся в Анну, играла

в ней, заставляла беспокойно постукивать каблучком по кафельным плитам ванной.

Она задержалась в ванной и когда вернулась в гостиную, все уже сидели за столом и разливали вино. Хозяйка половой тряпкой вытирала мокрые следы на паркете. Анна слегка прищурилась, разыскивая свое место.

— Сюда пожалуйста! — хлопнул рукой по стулу Хорен. — Сюда!

— Будь осторожен! — глянув на него, сказал Григорян. — Ее супруг не меньший разбойник... — Он положил руку на плечо Баграта. Все засмеялись.

— Да я с его супругой еще и словом не перекинулся, — сказал Хорен и повернулся к Анне: — Знаете, какой снег валит! Какой снег!..

От голоса Хорена, от взгляда ли его, а может сам снег коснулся Анны, — по ее телу пробежала какая-то приятная дрожь.

Хорен налил в два больших бокала вина, чуть пошатываясь, подошел к Баграту, протянул ему один бокал.

— Это тебе. А теперь, слушайте все. Атаман Хорен пьет за здоровье атамана Баграта. А Баграт за Хорена. На этом — квиты. Разбою — конец! Переходим к мирному строительству. Туш!

Под смех и аплодисменты, под звуки гитары Хорен до дна выпил свой бокал, со стуком поставил его на стол, вернулся на свое место и с аппетитом принялся есть.

Баграт все еще с авторучкой в руке ждал, когда уляжется шум, чтоб закончить столь важный

разговор с руководителем. Пить ему не хотелось, но поскольку все смотрели на него, пришлось выпить. Он осушил бокал, чуть не закашлялся, но, застыдившись, сдержал себя и взглянул на бумажную салфетку, испещренную кривыми линиями.

Несколько пар встали из-за стола, начали танцевать.

Анна не поняла, в шутку или всерьез сказал своей веснушчатой соседке юноша, сидящий напротив:

— Хочешь, полчаса буду держать на стуле стойку? Хочешь?

Она видела, как белокурый юноша, положив руку на плечо черноглазой девушке, псигрывал ее локоном; видела, как гитарист, перебирая струны пальцами, касался губами сидящей рядом красавицы, нашептывал что-то, и как красавица то заливалась смехом, то напряженно вслушивалась в его слова...

Анна взгрустнула. Глубоко вздохнув, она поднесла к губам рюмку с коньяком.

Было заметно, что приятелям Григоряна и их женам не совсем по душе этот веселый шум, музыки и праздничная суeta. Они хотели бы за тихой и мирной беседой попить чаю и распрощаться, довольные друг другом, но прибытие новых гостей, что вначале развлекло их, теперь стесняло, они колебались: уйти сразу, или побыть еще — из приличия. Наконец лысый не выдержал:

— Пусть молодежь веселится, не будем мешать...

Григорян и Баграт проводили их, вернулись, о чем-то переговариваясь собрали со стола исписанные салфетки и удалились в кабинет Григоряна. Хозяйка с подносом в руках приводила в порядок стол. Анна подумала было помочь хозяйке, но с места не двинулась. Магнитофон пел голосом Тома Джонса. Том Джонс, конечно же, знал Анну, и эта его песня конечно же была об Анне: чуть печальная, чуть задумчивая и хмельная. Анна медленно подняла рюмку, сделала еще глоток.

— Пьешь?

Хорен...

Не поняла Анна, отчего всколыхнулось сердце. Улыбнулась грустно, хотела что-то сказать, но тут чья-то твердая рука схватила под столом ее руку и сжала крепко и жестко. В первое мгновение Анна вздрогнула, попыталась выпростать руку, но та рука была сильная, властная и уверенная.

«Спокойно!» — приказала себе Анна, желая утихомирить охватившее ее волнение, и попыталась вспомнить что-то такое, что смогло бы успокоить ее, и, с чего бы это? — вспомнила задачку о бассейне. «Так, бассейн имеет две трубы...»

Но вот из трубы льется на ладонь Анны горячая вода, заполняет, переполняет сердце и останавливает дыхание.

— Пусти, — прошептала Анна, сделала еще

одну слабую попытку высвободить руку и уже не нашла сил противиться этому разрывающему сердце прикосновению. Потом — она и сама не поняла как, оказалась среди танцующих напротив Хорена. Том Джонс танцевал шейк. От топота танцующих трясся пол, в ритме танца покачивалась хрустальная люстра под потолком, и пальцы какого-то юноши легко и быстро бегали по черно-белым клавишам пианино...

Анна, которая ни разу в жизни не танцевала шейк, сейчас ни на секунду над этим не задумывалась. Как и остальные, она ритмично управляла своим гибким телом, трясла головой, распуская волосы, улыбалась Хорену, и все это казалось ей сказкой.

— Твои глаза сводят с ума...

Во сне ли слышала Анна голос Хорена? Пьян ли был Хорен, шатался ли он или ей это только показалось?.. И словно желая рассеять иллюзию, Анна еще энергичнее забилась в танце, и движения ее стали нервными и истеричными...

* * *

К утру снег прекратился. Баграт и Анна шли по безлюдным улицам. Было тихо. Только снег скрипел у них под ногами. Со двора жилого здания громко залаяла собака. Они прошли мимо, но собачий лай все преследовал их. Когда дошли до цирка, Баграт, наконец, очнулся от мыслей и нарушил молчание:

— Как здорово все получилось, а? Григорян сказал, что я могу защититься. Невероятно здорово!..

Анна медленно отпустила руку мужа, чуть приотстала, потом вдруг прижала ладони к лицу и зарыдала. И когда растерявшийся Баграт пытался оторвать ее руки от лица, Анна обняла мужа и, обливаясь слезами, начала целовать, целовать, целовать его...

С О Д Е Р Ж А Н И Е

| | |
|---|-----|
| Память сердца. Г. Карапетян | 3 |
| Зов. Перевод М. Мазмания | 11 |
| Цмакут. Перевод К. Кафиевой | 35 |
| Женщины. Перевод К. Кафиевой | 60 |
| Декабрь. Перевод В. Баласана | 80 |
| Сын квартала. Перевод М. Мазмания | 100 |
| Тоска. Перевод Л. Бояджяна | 125 |

Минацаканян Манук Яхшибекович

ОТТЕПЕЛЬ

Р а с с к а з ы

Редактор В. А. Габриелян

Худ. редактор В. А. Арутюнян

Тех. редактор А. В. Оганесян

Контрольный корректор М. Ц. Хачатрян

ИБ 5407

Сдано в набор 30.04.85 г. Подписано к печати 19.08.85 г.
Формат 70×100^{1/32}. Бум. тип. № 1. Гарнитура «Литератур-
ная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,17. Усл. кр.-отт. 6,73.
Уч.-изд. л. 5,8. Тираж 12000 экз. Заказ 2344. Цена 55 к.

Издательство «Советакан грох», Ереван-9, ул. Торя-
на 91. Набор сделан в типографии ЦК КП Армении. Ере-
ван, пр. Орджоникидзе, 2.

ТИПОГРАФИЯ ЦВЕТНОЙ ПЕЧАТИ
Госкомитета по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли Арм. ССР.
Ереван — 82, пр. Адмирала Исакова, 48.

